

# Галина Щербакова

## ДВЕРЬ В ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ

### 1

«Она не идет, а ввинчивается в толпу, - подумала о рыжей женщине Катя. - И нос у нее торчит воинственно и как штопор...» Рыжая подошла к их вагону, слепо уставилась в окна, и Катя увидела, что это Зоя. Непохожая на себя, неумело раскрашенная, но все-таки Зоя. То, что она не просто не узнала подругу, а думала о ней отвлеченно и равнодушно (воинственный нос-штопор), удивило и даже немного испугало. «Неужели и я так изменилась?» Катя инстинктивно посмотрела на себя в вагонное зеркало. Нашла, что узнаваема и соответствует той себе, какая была пять лет назад. Некоторые даже говорят: стала интересней. В эту минуту Кате особенно хотелось, чтоб так оно и было.

– Ты для кого это, мама, - спросил Павлик, - прихорашиваешься?

Удивительная способность у сына - читать ее «неопубликованные мысли».

Но тут в купе ввалилась Зоя, и она все еще держалась штопором-тараном, чтобы идти насквозь.

– Скажи, - спросила она громко и хрипло, - твои болели ветрянкой?

– Нет, - ответила Машка. Она повернулась к ним от окна, и на какую-то секунду показалось, что лицо у нее все еще оставалось сплюснутым: часа два девчонка не отлеплялась от стекла. - Ветрянкой я не болела! -

повторила она.

– Павлик тоже, - добавила Катя.

– Ну вот! Ну вот! - запричитала Зоя. - Я как чувствовала. Как чувствовала!

И, бухнувшись на лавку, она рассказала, что ее девочки три дня тому в одночасье заболели ветрянкой.

– ...А это такая болезнь, просто ветром передается, не то что поцелуями. Потому и название имеет такое! - И тут же успокоила: - Но меня не бойтесь! Катя ничего не сказала: что тут скажешь? - Мозги вспухли, пока я не сообразила, что выход у меня же в кармане. - И Зоя бросила на колени Кате связку ключей с брелоком в виде шины. - Все в порядке. Я тут слежу за одной квартирой... Цветы поливаю, и все такое... Хата моей заведующей... Мы с ней на ножах, но, когда уезжает, ключи только мне... Поживёте! И Загорск я тебе устроила. Поедешь с настоящим искусствоведом. Он еще, правда, зеленый - второкурсник, но не нудный и больше меня тебе объяснит. Он будет тебя сегодня ждать на вокзале в одиннадцать пятнадцать. Дети! - сказала Зоя совсем другим голосом, жалобным и просящим. - В квартире ничего не трогать. Ни-че-го! А то я потом не расхлебаюсь... - И она решительно схватила чемоданы.

«Это даже к лучшему!» - подумала Катя. Она всю дорогу беспокоилась, что Машка не поладит с Зонными девчонками. Машка своенравная, в общении противная, любит командовать, высказывать на все свою точку зрения, и не так часто эта точка зрения совпадает с той, которую окружающие имеют. А вот безобразничать в чужой квартире - это ее детям и в голову не придет. Этого бояться не надо.

Немного поскандалили у такси, потому что Машка хотела сесть впереди, а шофер сказал: «Пусть сядет мужчина, а не ребенок». У Павлика щеки зарозовели - назвали мужчиной. Катя слышала, что произнесено это было шутейно, шофер немолодой и мог уж разобраться, что мужчине всего ничего - шестнадцать, но Машка, как всегда, стала выяснять отношения. Не ребенок она, а девочка, даже подросток. Ей уже двенадцать лет, а не три года. Когда надо собирать металлолом, они все взрослые. А когда что им...

– Пора вводить телесные наказания, - вмешалась Зоя. - Мои такие же горластые!

Машка посмотрела на нее с отвращением.

– Куда горластые едут? - спросил шофер.

– На Маяковскую! - ответила Зоя. - В самый центр!

«Ну и что? - сказала себе Катя. - Один дом, что ли, там стоит? И потом... Сколько лет прошло?..» Она сказала себе так и заставила себя даже улыбнуться, что получилось весьма некстати: Зоя в тот момент рассказывала, как ее старшенькая «горела, так горела», в ту самую секунду Катя и повернулась к ней со своей потусторонней улыбкой. Зоя замолчала, словно подавилась, и уставилась на Катину улыбку.

– Что смешного, - спросила она обидчиво, - если у ребенка температура под сорок?

– Разве я смеюсь? - смутилась Катя. - А ты ей что давала от температуры?

– Аспирин, - ответила Зоя. - Я даю только аспирин.

– Я тоже, - сказала Катя.

Она почувствовала, как начинает у нее теплеть левая щека. Значит, проявится ее проклятое пятно, и Павлик будет спрашивать: «Мама, ты нервничаешь? Да? Нервничаешь?» Катя прикрыла горящую щеку пальцами - тоже, наверное, температура на ней под сорок, а никакой аспирин не поможет - и стала расспрашивать Зою о жизни. Зоя сказала, что с тех пор, как они отделились от свекрови, все хорошо и муж «завязал». Эту информацию она выдала вполголоса, но Машка, до сих пор не отрывавшаяся от окна, именно на «завязал» обратила к Зое мордочку, на которой было написано брезгливое любопытство.

– Смотри, Лермонтов, - педагогично отвлекла ее Катя.

– В общем, нормально, - заключила Зоя. - Я на лоджии капусту солю.

Катя засмеялась и сразу ощутила, как стихает огонь на щеке. Хорошо! Надо думать именно о Зое, об ее умении солить, мариновать, печь, вялить. Именно это умение останавливало Зою, когда ее мужу, очень хорошему прорабу, предложили переехать в Москву на олимпийский объект. «Как я буду без погреба?» - спрашивала Зоя. Но прораб был по рождению москвич, он всю жизнь, сколько жил в Северске, спал и видел какую-то свою, ни на что не похожую Стромынку, которую северские приятели его называли Стремянкой. Поэтому они все-таки переехали, поселились у свекрови, пошли одна за другой встречи с друзьями-приятелями с этой самой Стремянки-Стромынки, и прораб медленно, но верно становился пьяницей. Зоя подняла волну на полстраны, включив в спасение прораба силы невероятные. Оказалось, что самый простой способ отделаться от натиска женщины, которая не ходит, а ввинчивается, это дать ее семье квартиру вне очереди. Подальше от Стромынки и старых друзей. Квартиру дали. Друзей мужа Зоя на порог непустила. Прораб пошумел, пошумел на пятнадцатом этаже, хотел их догнать, а лифт как раз

застрял. Вот в эти минуты, что стоял он на площадке и с остервенением давил кнопку, был сделан им главный выбор в жизни. Катя старательно слушала ненужную ей историю сомнений и страданий прораба, потому что надо думать, думать о постороннем. Чем глубже она погрузится в чужую жизнь, тем скорее утихнет щека. Сейчас же Зоя сообщала самое ценное из жизни: капусту она солит на лоджии.

– Какая там работа! - махнула она рукой на вопрос Кати. - Перекладываю бумажки.

И снова ядовито обернулась Машка, и снова - в который раз! - Катя поняла, как осторожно надо говорить при детях. Неизвестно, что от их взрослых слов у тех прорастает.

Такси свернуло на улицу, и Зоя страстно, будто сама эту улицу выстроила и тротуаром покрыла, пояснила: - Вот к этому, пузатому, серому, серому! Ишь, как стоит, - направляла она. - Ты посмотри, Катя, какой дом! И грудь у него, и живот!

Этот дом снился Кате в кошмарах. Серый, тяжелый, круглый, он падал на нее всеми своими старинными окнами, и стекла давились у нее на груди, скрипя и уничтожая. Она кричала, вскакивала, а на теле оставались следы - багровые, с кровавыми точками. Надо, чтобы прошло много, много лет, тогда это перестанет сниться... Вот только на щеке у нее так до конца не зажил след от дома-бандита. А теперь они остановились у самого, самого подъезда, и из распахнутой его двери, как и тогда, давно, пахло загнанным в лифтовой штрек ветром. Ничто нигде никогда так не пахло.

– Как странно здесь пахнет! - сказала много лет назад Катя, когда вошла в этот подъезд.

– Так пахнет плененный ветер, - сказал он ей. Подрагивала, позвякивала, постанывала железная сетчатая шахта лифта, как будто действительно кого-то держала и не пускала.

– Как странно здесь пахнет! - сказала Машка, суя нос в подъезд.

– Это еще ничего, - сказала Зоя. - Не кошками и мочой, как в других...

Представилось несуразное: Зоя приведет их в ту самую квартиру. Мало ли что могло случиться за эти годы? У Зои же, как назло, выражение торжественное, лукавое. Катю просто ужас охватил. Она прикрыла щеку рукой, потрясенно глядя, как крепким, тренированным шинкованием капусты пальцем Зоя нажимала в кабине кнопку четвертого этажа.

Они выгрузились на площадку, и Катя замерла перед массивной коричневой дверью. Она знала: надо делать другое, хватать за руки детей - черт с ними, с чемоданами, - и мчаться вниз на лифте, без лифта, неважно... И потом бежать от этого дома, от запертого в шахте ветра, от этой улицы, бежать, бежать, а если они, дети, спросят, куда она их тащит, крикнуть, чтоб не спрашивали. Не их это дело! Есть ситуации, когда не обязана мать давать отчет детям, а они обязаны ее беспрекословно слушать. Может, в жизни один раз бывает такая ситуация. Это именно такая.

Зоя открыла соседнюю дверь, и они вошли в квартиру.

– Мам, что с тобой? - встревожился Павлик. - Ты чего-то нервничаешь?

– Да нет! - ответила Катя. - А кто здесь соседи? - тихо спросила она Зою.

– Какие-то молодые! - сказала Зоя. - Раз видела. А что они нам? Это же не коммуналка! - И Зоя радостно, как у себя дома, распахнула все двери славной

однокомнатной квартиры - двери в кухню, в ванную, в уборную, в кладовку и на балкон.

Именно потому, что открывать дверь в кладовку было глупо, туда сразу и пошла Машка. - А там тоже дверь! - крикнула она. Большая двустворчатая дверь в кладовке была грязной. Когда-то с другой ее стороны висела толстая бахромистая портьера. Ей, Кате, объяснили: это очень старый дом, раньше на площадке была всего одна квартира. Уже после революции сделали из одной две. А дверь между ними осталась. Надо бы ее заложить, да как-то хлопотно. Вот и повесили портьеру. Потом Катя поняла: не в этом дело. Был план присоединить отпочковавшуюся в трудные времена квартиру исходя уже из новых, оптимистических обстоятельств, что жилищный кризис как кризис существовать перестал. Дверь в стене служила наглядным указателем в завтрашние возможности. Поэтому закладывать ее и глупо, и расточительно: потом выбирай из проема кирпичи.

А может, ничего такого и не думала в той квартире и все померещилось Кате позже, когда ни одной, ну, просто ни одной хорошей мысли о них не приходило в голову. Тем не менее дверь в стене жила по-прежнему, и Машка постучала по ней кулаком.

- Они на даче, - успокоила Зоя ринувшуюся на дочь Катю. - Летом все из Москвы... - Она решительно повела всех к балкону. Даже кресло отставила с дороги и шторы раздвинула. - Смотри, какой широкий, - сказала она Кате, - просто можно жить, - Лицо у Зои затуманилось, и легко было себе представить, какое количество квашеной капусты виделось ей на этом широком, огражденном каменными столбиками-вазочками пространстве.

Катя переступила порог. Основная, большая часть балкона принадлежала той квартире. Балкон огибал ее с двух сторон, сюда выходила дверь из их столовой. Границей балконной территории служил ларь, он был и тогда, ларь с бутылками, банками, тряпками. Сейчас на этом ларе лежала свернутая малиновая дорожка, а на самой ее середине пауком сидело чернильное пятно. Катя вспомнила запах тех своих дешевых духов, флакончик которых носила в кармане плаща. Она полезла за ними, уронила ручку, наступила на нее ногой, и по яркой новой дорожке расплылся фиолетовый краб.

Она испугалась и стала мыть и чистить, а ей сказали: «Подумаешь, ерунда». Катя знала, что не ерунда. Дорожка и дорогая и новая, а она ее испортила. Но ей сказали: «Перестаньте об этом думать, как не стыдно!» Никого испорченная вещь не взволновала. Катя тогда очень этому удивилась. Все вещи имели для нее денежный эквивалент, а деньги, в свою очередь, эквивалентом имели работу. Работа же - это в общем-то жизнь, клетки, нервы, это усталость, недосыпание. В такой цепи связей нельзя было не реагировать на пятно, надо было сказать ей, что она растяпа, что она вещи не бережет. Полагалось сказать! Ей стало бы легче от осуждения. А много позже, когда прочла у Чехова что-то вроде: воспитанный человек не обратит внимания на пролитый соус, - она, помня эту историю, и Чехова в какой-то момент поставила под сомнение. Так ли уж правильны все его мысли?

И вот оказалось, что пятно живо. Оно смотрело на нее всеми своими потеками и каплями, всей своей невыцветостью, заставляя думать о хорошем качестве чернил в старых авторучках.

- Ну все! - сказала Зоя. - Пищу я ребятам приготовила. Разогреют. А ты езжай себе спокойно в Загорск, вернешься - закомпостируешь билет. Завтра же утром мы

поедем в Щелковский универмаг, а после ты детей сводишь в зоопарк и на Красную площадь.

Катя кивала головой. С той минуты, как она увидела дверь в кладовке, а потом это пятно, она уже твердо знала, что распорядок у нее будет другой. Никакого Загорска, никакого зоопарка. Она сейчас поедет на вокзал и возьмет билет на самый ближайший поезд в Сочи. Детям скажет: иначе было нельзя. Теперь ее беспокоило одно: как быть с ключами от этой квартиры, как их передать Зое? Потому что говорить ей обо всем Катя не хотела. Та спросила бы: «Ты что, сбрендила?» «Ладно, ладно, - гнала эти мысли Катя. - Что-нибудь придумаю. Главное сейчас - билеты».

Зоя провела детей на кухню, открыла кастрюли, из которых хорошо, домашнему пахло.

– Хочу есть! - потребовала Машка.

Зоя ласково и благодарно погладила ее по голове. Потом она зачем-то продемонстрировала, как поворачивается водопроводный кран, и строго, с предметным опытом объяснила устройство туалетного бачка.

– Все! - сказала она. - Все! Идем. Ты им скажи, чтоб все было в порядке.

– Не волнуйтесь! - успокоил ее Павлик. - И ты не волнуйся тоже. - Он подошел к Кате и повернул ее лицо. - Что это? - спросил он, показывая на пятно. - Ты чего боишься?

– Ничего, сынок, - ответила она. - Это я так...

– Пошли! Пошли! - торопила ее Зоя. - Мальчик, с которым ты поедешь в Загорск, наш сосед. Я ему за экскурсию с тобой свяжу шарф и шапочку. Так что не стесняйся, спрашивай, пусть все хорошо, подробно объясняет.

Они спустились вниз. Лифт ожидали женщина и девочка. Катя и Зоя вышли, а те вошли, стукнула дверь, вздрогнула сетка шахты, вздохнул ветер, и ничего больше, но надо просто бежать от Зои, чтоб она не увидела, как запульсировала у нее щека. Слава богу, Зоя уже поглощена своими заботами, она умчалась от Кати, едва захлопнулась дверь подъезда. Только сумка мелькнула за углом.

А Катя открыла сумочку и достала пустые бланки рецептов. Сейчас она пристроится где-нибудь и выпишет себе микстуру, есть такая, к которой она старается прибегать как можно реже, в крайнем случае. Сегодняшний - крайний.

Она нашла в соседнем дворе лавочку и села на нее. В тишине жужжала зеленая муха, была она расхристанна и вульгарна, и случилось, видимо, у нее свое какое-то несчастье, раз она так назойливо вопила о нем на солнечном дворе. Катя пыталась писать, но ручка рвала бумагу, и она испортила два бланка. Так можно испортить все, а она захватила их немного, на случай - мало ли что? Первый раз они с ребятами едут на море. Катя закрыла глаза для аутогенной тренировки: нельзя, чтобы вчерашний день имел над тобой большую силу, чем сегодняшний, бездарно это и глупо. Вот сейчас она возьмет себя в руки... Раз, два, три... Вдох, выдох... Расслабься, расслабься, расслабься...

...Они ждали приплытия московских студентов-байдарочников. Те спускались в Северск по реке, и слава о них шла быстрее, чем байдарки. Студенты опробовали новую модель байдарки, везли с собой музыку, фильмы и, как сообщили в райком комсомола по телефону, были потрясающие «па-а-арни». Именно так, протягивая слова, подражая московскому говору, сообщил секретарь райкома Кате, когда предложил встретить байдарочников и представлять собой лучшую часть северской

молодежи. Катя тогда закончила первый курс только что открытого в их городе медучилища, и бабушка в честь этого события сшила ей платье из двух кусков шелка, желтого и голубого. Правда, не повезло с пуговицами - продавались одни зеленые, но в целом платье на Кате гляделось, такая она была вся яркая, как флаг. В этом платье Катя с делегацией вышла на берег, и одна из байдарок носом ткнулась в песок к ее, Катиным, ногам.

– Девушка! - окликнул ее «па-а-арень». - Это я к вам приплыл или вы ко мне?

Бабушка скажет потом: «Необыкновенный». Она в своей жизни один раз видела подобное воспитание. У сына их сельского учителя. Там вообще было интересное сочетание: отец - учитель-атеист, а мать - верующая женщина. И бабушка объясняла так:

– Настоящие люди бывают от образования и веры... У вас мама верующая? - спросила она Колю.

– Что вы! - засмеялся он. - Она же первая пионерка.

– Неважно, - строго сказала бабушка.

Что было в нем удивительного? Он ухаживал, а Северск такого еще не видел. Нет, и у них, конечно, и любились, и женились, и дети рождались. Но чтоб с охапкой цветов топтать через весь город к ней, к Кате, и говорить всем встречным: «К ней! К Кате!» Такого? Не было. И потому получилось: все были участниками, действующими лицами, все были заинтересованными в их любви. Потом Катя думала: так быстро у них вышло, потому что умножилось ровно на десять тысяч жителей Северска. Уже через две недели Катя оказалась в атмосфере всеобщей заинтересованности и внимания. Позже Северск пережил такое же сердечное единение и волнение, когда к городу подвели телевидение. Но это было еще через несколько лет, а до того Коля со своими цветами и Катя в платье-флаге представляли собой главную тему и идею города.

Когда что-то множится на десять тысяч желаний, нельзя наверняка знать, что из этого получится.

Они ехали в Москву «на свадьбу в «Арагви»! Бабушка задала Коле только один вопрос:

– А как же родители, не обидятся ли? Что так скоро?

– Обидятся! - улыбнулся Коля. - Это точно. А что я мог сделать, если девушка уже ждала меня на берегу?

– Может, надо будет подождать и еще? - сказала бабушка.

– Ни за что, - сказал Северск.

Этот молчаливый, едва выбившийся в город поселок вел себя настойчиво и уверенно. Как будто вся его неторопливость и основательность были подготовкой к одному-единственному стремительному шагу: выдать Катю Малышеву за московского байдарочника Колю Михайлова. Выдать и терпеливо ждать пуска телевидения.

Он привел ее в этот дом, повизгивающий плененным ветром. Он открыл ей квартиру с яркой малиновой дорожкой на полу. Он повесил ее плащ на вешалку, и Катя отразилась в большом зеркале на двери. Родителей еще не было - они отдыхали. Вместе с Колей она снимала газеты с красивой мебели, снимала осторожно, но все равно вспугивала пыль, и она клубилась совершенно как в каком-нибудь Северске, не отдавая себе отчета, где она находится.

На следующий день Коля пошел отчитываться по байдарочным делам.

Байдарки, которые проходили испытания по их реке, отправили дальше. Коля и задержался в их городе именно потому, что был начальником транспортировки. Сейчас он немного волновался, ведь отправлял байдарки он в любовном угаре, как сам говорил, и сейчас, разложив перед собой кучу бумажек, не был уверен, все ли они те самые, которые с него сурово спросят.

– Иди! - сказала ему Катя. - Иди и не волнуйся!

Он пошел, а она осталась дома. Помыла посуду, протерла блестящие поверхности мебели. Вышла на длинный, огибающий квартиру с двух сторон балкон, села на ларь и задумалась. То ли потому, что она была тогда одна, то ли от чего другого, только стало ей страшно. Явилась вдруг ни с чем не сообразная мысль, будто все случившееся с ней - шутка. Представилось даже так: Коля ушел и не вернется, а она одна в чужой квартире, в которую придут хозяева и скажут: ты что здесь делаешь? И еще, не дай бог, подумают: воровка. Поэтому, когда на балконе показалась очень хорошо одетая женщина, улыбнулась ей и спросила: «А вы кто, прелестное дитя?» - она обрадовалась, что ей улыбаются и что никто ее ни в чем не подозревает, а значит, все ее страхи глупы. Она ответила:

– Я - Катя.

– И откуда вы, Катя?

– Я из Северска, - сказала она.

– А! - понимающе протянула женщина. - А где наш сын?

Катя все объяснила. Та слушала ее, кивала головой, затем крикнула в комнату:

– Митя! У Коли гостя. Катя из Северска. Вышел Митя. Невысокий полный мужчина.

Катя напряглась и вспомнила, кто он: специалист по судоимпорту.

Потом они пили чай с каким-то рассыпающимся в пальцах печеньем. Было оно со странным привкусом и запахом земляничного мыла. Катя мечтала, чтоб именно сейчас появился Коля и увидел этот их общий чай. Она так подумала: говорить главное не должна. Это же его родители. Представила, поняла, что они начнут сердиться и ей придется это перетерпеть, потому что так должно быть. Ей же надо молчать и жить тихо и терпеливо, и в конце концов они поймут: она совсем неплохая будет жена их сыну и дочкой постарается быть хорошей. Она крошила в порошок печенье и взращивала в себе любовь к этим людям, что сидели напротив и говорили о своем. Она ловила на себе взгляды Колиной матери, и в них не было ни капли того, чего следовало бы опасаться.

Потом родители стали разбирать вещи, и Катя решила, что надо подождать Колю на улице.

– Бога ради! - сказала мама.

Уходя, Катя захотела подушиться новыми духами, которые купила в аптеке, полезла за флакончиком в карман плаща и тут вот и выронила ручку.

– Перестаньте! - сказала мама, когда она в испуге принялась тереть пятно носовым платком. - Перестаньте! Ничего страшного!

Катя вышла из квартиры с чернильными пятнами на руке и в панике. Конечно, она сотворила беду, просто они из деликатности ничего ей не говорят, но ведь цена дорожки не копейка. Дорогая дорожка, очень дорогая, а вид у нее теперь - выбрось. Катя бродила по двору, страдая, мучаясь сделанным, но Коля не шел, и не шел, и не шел... А когда она вернулась, он, оказывается, был уже дома. Но это был уже не Коля.

Каким он был до того? Дарил цветы. Приносил из колонки воду. Вырывал у северских женщин тяжелые сумки и, смеясь, тащил до дому. Он здоровался со всеми встречными. («Совсем как в деревне», - говорила бабушка.) Он таскал байдарки на голове и латал их собственными руками. Он снял с плеча куртку и отдал ее чужому парню, который уходил по реке, а одет был не для воды - для суши. Он починил в райкоме приемник, нарисовал им наглядную агитацию, он читал лекции старшеклассникам, а пионеров водил в поход. И это все за те три недели, отпущенные ему для байдарочных дел. Еще он пел, играл на пианино, крутил «колесо» на перекладине и показывал «крест» на кольцах. Вот тогда-то бабушка и сказала: «Необыкновенный!»

Колю, которого она нашла в квартире, когда вернулась с улицы, она не знала. Ну как это сказать? Вот если б вы возвратились домой, где никогда не переставлялась мебель, а теперь вдруг все стоит иначе. Вы идете садиться, а в этом месте уже стол, идете к столу - там почему-то буфет, и нет в этом всеобщем сдвигении никакой понятной для вас логики. Нет, не то! Это плохой пример. Другой... Вы выходите поздним вечером на улицу и не видите на небе Большой Медведицы. Еще вчера была, подмигивала вам ковшом, а сегодня нет, совершенно нет, нигде. И вы можете задрать голову, можете лечь навзничь для удобства - нет Медведицы, как и не было. Ну что вам она, эта Медведица, - подруга? А вот исчезла - и вам плохо. Нет, такой пример еще хуже. Разве можно сказать: ну что ей новый Коля? Пусть бы провалились в тартарары все медведицы. Пусть бы прихватили с собой полярные звезды, и сириусы, и венеры, и туманности, и прочие небесные тела, был бы тот вчерашний, необыкновенный Коля... А Коли не было. Она ступила на чернильного скорпиона - Коля ждал ее на чистом конце малиновой дорожки, улыбался и протягивал руки. Но она не пошла в эти руки - съезжившись, она проскользнула мимо них и почувствовала его облегчение.

– Ты где была?..

– На улице...

– А у меня все в порядке с документацией...

– Я же тебе говорила...

– Ну какие у тебя планы?..

Вот что за вопрос он ей задал: какие у тебя планы? Будто у нее могли возникнуть планы, независимые от него. А еще утром он говорил «мы», «мы», «мы»...

Прошла мимо мама, покачала головой и сказала:

– Высечь бы вас!

Какие человеческие слова! Высечь их обоих и простить, и Катя бы доказала... Ведь все, все от нее зависит...

Но тут сразу же ввалился очень толстый, очень кудрявый, очень веселый молодой человек. С той секунды, как он щелкнул ее по носу, а маму поцеловал, а папе пожал руку, а Колю хлопнул по плечу, - с той самой секунды она не оставалась с Колей одна и не только ни о чем не могла его спросить, она даже думать не могла. Толстяк заполнил собой все физическое пространство. Они ели, смотрели телевизор, куда-то ходили, толстяк таскал ее под руку, а Коля шагал просто рядом, бесплотный такой мальчик, у которого почему-то неожиданно сел голос. Вечером ей постелили на диване в гостиной, а в Колину комнату ушел толстяк, и чемоданчик ее оказался тут же, рядом, у изголовья дивана. Полагалось сказать: «Я же жена!» - но



выговорить такое неловко, потому что она сама еще не привыкла к этому слову, а Коля как-то тихо слинял, вот стоял, говорил что-то, а потом его мама объявила: «Спит!» Толстяк захохотал и исчез в его комнате.

Не было на небе Медведицы и вообще ничего не было. И утром первым, кого она увидела, оказался толстяк, которого, как она уже выяснила, звали Тимоша.

– Мы пошли, коза, - сказал ей Тимоша.

И в ноги к ней села мама. И оттого, что Катя только проснулась и была не умыта и не причесана, ей прежде всего сделалось неловко, что она такая вот неприбранная. Весь последующий разговор помнился из-за неумытости особенно гадко.

– Надо уезжать, деточка, - начала доброжелательно мать Коли. Она говорила подробно и спокойно, во всем обвиняя Колю и жалея ее.

Почему-то особенно долго она толкалась на Колиной мечте об Африке. Дескать, он нарочно для этого учил языки. И, в сущности, уже все решено. Он защитит весной диплом и уедет в Занзибар. Катя никак не могла сообразить, откуда она знает это слово. И почему раньше, в детстве, от этого слова становилось смешно и радостно, а теперь страшно?

– Если же вы поженитесь... - сказала мама и как-то так содрогнулась, что у Кати закружилась голова и к горлу подступила тошнота. - Но дело даже не в этом! Бог с ней, с границей, - говорила мама. - Вся ваша история романтична, симпатична, но - как бы вам объяснить? - рождаются такие дети, которые обречены на смерть сразу, при рождении.

Катя знала этих детей. Видела в родильном доме, где проходила практику. Беленькие такие, красивые младенцы - в отличие от красных орущих жизнеспособных уродцев. Мама Коли продолжала свой неспешный, доброжелательный рассказ.

Надо уезжать. Коля виноват перед ней, и они возместят его вину. Они обязаны это сделать. Пусть она скажет в Северске, что он попал под машину, его убило током, отравился рыбными консервами, что у него инсульт, инфаркт, что они все утонули, угорели, разбились на самолете, провалились в шахту лифта. Мама так весело перечисляла возможные смерти, будто всю жизнь занималась именно этим - статистикой несчастных случаев - и они у нее всегда были на языке.

– Вам так будет легче, - заключила мама. - Погибли, и точка. А у вас все впереди, деточка, и все у вас образуется, потому что вы хорошая, порядочная, славная. Вы умница. И спасибо вам за это. Мальчики пошли за билетами...

Какие билеты? Катя уже понимала, что с ней случилось несчастье, но она не знала, какое оно. Ее как будто выгоняют, а мама принесла на красивеньком подносе кофе и стала делать несуразное: поить ее с ложечки. И Катя, даже в младенчестве не приученная к такому баловству, глотала горький кофе, и мама салфеткой вытирала ей рот.

– У вас все будет, чтобы начать сначала, - говорила она. - В конце концов, если переводить Колю в деньги, то он, сопляк, гроша ломаного не стоит...

Ничего Катя не сумела на это ответить. Она просто не знала слов, которые могли бы что-то объяснить. Ни себе самой, ни этой женщине. От немоты, что ли, но набухал, рос внутри какой-то полый шар, он давил ей на ребра, и казалось, ребра уже начинали потрескивать, готовые разорваться. И она сдерживала дыхание, не набирала воздуха, потому что ему совсем не было места, а потом шар внутри вырос

и лопнул.

...Было тихо, пели птицы, болталась перед глазами оранжевая гроздь рябины, и Катя подумала: то сон, а сейчас она проснулась. Вот только гроздь откуда? Она старалась вспомнить и не могла, приподнялась на локтях и увидела Тимошу.

– Ну что, коза? - спросил он. - Оклемалась?

– Где я?

– У меня на бороде, - засмеялся Тимоша. - Знаешь, не падай больше в обморок. Это примитивно... Все мы люди, все человеки... Понять надо...

– Где я? - повторила Катя.

– На даче, - сказал Тимоша. - И у тебя все в порядке, врач смотрел. Так что не надо больше, ладно?

– Я хочу домой, - прошептала Катя.

– Самолет завтра, - ответил Тимоша. - Полетишь...

Она не спрашивала о Коле. И, наверное, это очень удивляло Тимошу, раз он пялил на нее круглые веселые глаза. А она встала и пошла потрогать рябиновую кисть руками. Кисть оказалась пыльной, теплой и твердой... Катя села под нею, не зная, что ей сейчас делать... Выражение «собраться с мыслями» не годилось, ибо подразумевало, что мысли живут в одном с тобой измерении или хотя бы в одном времени. У нее же все не так. Катя находилась там, где висела гроздь рябины, а мысли гуляли неизвестно где. Она тупо смотрела перед собой, получалось: смотрела на Тимошу, потому что тот обладал таким свойством - она убедилась в этом еще вчера - занимать все видимое пространство.

– Слушай меня сюда, - сказал он нелепую фразу. - Слушай сюда... Никто не умер, поняла? Никто. Ну, считай, ты съездила в Москву на экскурсию за чужой счет. Съездила, и ладно. Чужой счет это вынесет, я-то знаю... Какие у тебя в этом деле потери? Никаких, коза, никаких! Сплошные приобретения, ты потом поймешь... Что такое Коля? Это дитя, которому ничего не стоят никакие поступки. Ничего! Он от всего застрахован. Мамой и папой. Ему не страшно натворить глупости, потому что все глупости ему в конце концов поправят. Ну что тебе говорить? Цветочек он, лютик... Весь на витаминах и аспирине... Я его люблю... как человека будущего... Разносторонний, раскованный, добрый, деятельный. Все будут такими со временем. Будь и ты такой - ты бы в обмороки не падала. Ну подумаешь - сошлись. Нормально! Медицина не возбраняет. Но с тобой сложно, в тебе ж вековой груз предрассудков... В общем, я его за историю с тобой не хвалю. Надо соображать... Но это, между нами, и к тебе относится... Одно могу сказать: ты не бери себе это в голову. И уезжай! Ну считай, что вся их семья свалилась с моста в машине... Вчера тут одни свалились. Пять новеньких трупов, а машину вполне починить можно, я сам смотрел. Так вот, коза, тебе истина: будь машиной. Выживай! Никто не умер. Они тебя обеспечили, они порядочные люди. Найдешь ты в своей деревне хорошего человека...

Тимоша говорил бодро, но с каждым словом он будто потухал, сникал, и Катя это чувствовала - она только это и чувствовала, как вянет перед ней Тимоша. Суть же его речей смысла для нее не имела, ибо не имело смысла и все остальное. А вот реальный толстый человек размокал у нее на глазах и сам этого пугался, и глаза его из круглых и веселых превратились в круглые и печальные, потом круглые и беззащитные, потом просто круглые, потом и они потухли, и Тимоша вялым,

пустым голосом произнес:

– Вляпалась ты... Конечно, мне тебя жалко... Кольку я люблю - будущий человек, но он дерьмо.

– Не надо, - сказала Катя.

– Что «не надо»? - спросил Тимоша. - Говорить или ругать?

– Ничего не надо, - ответила Катя.

Они сидели вдвоем, опустошенные и молчащие, сидели так тихо, что прилетела птица и примостилась на грозди рябины. И они услышали, как она носиком пыталась разобраться в сути этой грозди, и было ее обследование тщательным и неторопливым. Затем она улетела, а гроздь продолжала покачиваться ровно столько, сколько дала ей движения птичка-невеличка, принявшая двух застывших людей за неживую природу и рассказавшая об этом всем знакомым птицам по дороге. А потом Тимоша вздохнул и сказал, что надо питаться.

Ни Колю, ни его родителей Катя больше не видела. На следующее утро к даче подошло такси, и Тимоша вынес два красивых чемодана. Они долго, через всю Москву, ехали в аэропорт, и счетчик отсчитал невероятную сумму. В руках Катя держала сумочку, которой раньше у нее не было, а теперь вот она ее держала, мчалась в такси по Москве, и Тимоша объяснял ей, что есть слева и справа. Во всем этом ни смысла, ни истины, ни жизни, и Катя оставалась неживой природой, которую не боятся птицы. Потом они сидели в глубоких креслах, и Тимоша ей рассказывал, что у Колиной мамы было пять аборт и всего один сын. Что родился он в войну и долго болел, но потом выровнялся. Родители его всего-всего в жизни добились сами, своим трудом. Пережили и свои черные дни, и коммуналки (не приведи господь!) - им, провинциалам, это незнакомо, - и дорога на работу два часа в один конец, и щипали папу не по делу в сорок девятом («Да откуда тебе это знать, коза ты периферийная!»), и надо было все перетерпеть и не сдаваться (а они таки оптимисты!), и в конце концов все пришло - и квартира в центре, и дача, и граница. И Колю воспитывали хорошо: и музыка, и спорт, и «не бей», и «поделись», все по принципам высшей пробы. Человек будущего, одним словом...

– Вы им кто? - спросила Катя. Обломочное сознание напряглось и выразило интерес.

– Я? - Тимоша вздохнул, засмеялся, потом вздохнул снова и сказал: - Я, коза, Колю твоего однажды чуть не прибил, мы тогда мальчишки совсем были... Судить меня могли, и за дело, я на Колю ринулся нехорошо, из зависти. Он на улицу вышел во всем-всем не нашем. Я его повалил в самое грязное место... В общем, избил его по-черному... Ну а он потребовал у родителей моей реабилитации, и все для меня обошлось. Хорошо это или нет? Как ты считаешь? Вот видишь... Они и мне привезли потом заморское тряпье...

Да нет, они хорошие люди, коза, они хотят, чтоб все по-людски, но ведь так не может быть для всех, ты же понимаешь... Я им друг, но тебя мне жалко. Ты другое дерево. Они знают, чего хотят. И делают... И сына ведут. Он без них кочерыжка... Я вчера слышал их разговор: оставить тебя или отправить? Отец шумел: «Накажем дурака, накажем!.. Пусть отвечает за поступки». Но мать сказала так: «Всю жизнь отвечать за его поступки будет эта девочка... А она отвечать за это еще не может... А Коля...»

– Не надо, - попросила Катя, - не надо...

– Ты брось, - воспротивился Тимоша, - брось... Ты должна знать, что он сказал,

должна? Он сказал, что ты стояла на берегу, как Ассоль... И было на тебе какое-то там платье... Эх ты, коза! Коля - человек будущего. Все без денег...

Катя не читала Грина. Она не знала, кто такая Ассоль. Но именно в этот момент она почувствовала, как из всей ее душевной растерянности, из всех сваленных в непотребную кучу мыслей и чувств рождается в ней ненависть и каким-то непостижимым образом обращена она прежде всего на стоящую на берегу Ассоль, в общем - на самое себя.

Она вернулась в Северск и сказала, что все погибли в автомобильной катастрофе. Пять новеньких трупов, а машину вполне можно отремонтировать... В чемоданах лежали прекрасные вещи, каких Северск не видывал. Горько плакала бабушка - и это оказалось для Кати самым ужасным. Но надо было это стерпеть, надо было! Она пошла на занятия в училище, и ее окружили нечеловеческой добротой. Она стала груба, она хамила направо и налево, а ей прощали, потому что считали: Катя вправе так поступать. Однажды ее позвали в райком, и секретарь, дрожа от волнения, сказал: «Есть идея назвать новую улицу именем Коли Михайлова». Никогда ему не понять, до самой смерти, почему столь благородный и чистый порыв вызвал у молодой вдовы такое бешенство. «Назови! - кричала она. - Назови! Хочешь, город назови - Михайловским! Пусть все путают, где жил Пушкин, а где живут дураки!» Улицу назвать не разрешили, сочли недостаточным основанием для этого обаяние московского байдарочника и смерть в результате обыкновенного несчастного случая. Но с Катей многие перестали дружить в это время. А через семь месяцев у нее в преждевременных родах родился мальчик. Был он слаб, нежизнеспособен, и Катя желала ему смерти.

Но то ли мало желала, то ли в Северске врачи свое дело знали, только мальчик выжил, и ему дали имя Павлик. Было очень трудно, и бабушка потихоньку стала продавать заморские вещи из богатых Катиных чемоданов, а однажды, валясь с ног от усталости после бессонных ночей, Катя достала сберегательную книжку, положенную ей в сумочку тогда, в Москве.

– Не вздумай в страстях выкинуть ее, - сказал на прощание Тимоша. - Это Колина расплата.

Они купили корову и поросенка, и сразу стало легче, и Павлик выправился, а вот у Кати начало расплзаться без границ красное пятно от щеки и дальше. И сны ей стали сниться какие-то тяжелые. Серый дом падает на нее и скрипит и давит ее стенами. Но бабушка так была счастлива крепнувшим правнуком и столь же крепнувшим хозяйством, что на пятнистую Катю внимания не обращала. Подумаешь, нежности какие - пятно! Что же жаловаться тогда кривым, косым и горбатым? А они, слава богу, тоже живут, потому что родились и потому что люди. Коля вот умер... И бабушка истово крестилась, и возносила молитвы, и говорила: «Какой человек, какой человек!»

Это сознание, будто она, Катя, фактически живет за счет Коли и его родителей, было до такой степени угнетающим и мучительным, что она и сберкнижку хотела выбросить, и корову продать, и мечтала, как мать, завербоваться куда-нибудь к черту на рога, чтоб заработать кучу денег и швырнуть им в лицо... Но мало ли о чем мы мечтаем? Начиналось утро, просыпался Павлик, бабушка несла ему теплое молоко, и глаза у нее становились молодые, лучистые, вторую молодость она переживала с тех пор, как появилась у них в сарае круторогая Райка. И приходили к

ним соседи, и бабушка продавала им молоко в чистых стеклянных банках и только сокрушалась, что специальной глиняной посуды нет. А молоко в банке - это не то...

Так и жили. Провели к ним телевидение, и они могли - могли! - купить себе телевизор. «Плохая ли жизнь? Ах, Катя, Катя! Что ты с этим пятном носишься, не клеймо ведь. От преждевременных родов оно, мальчоночка-то мог не выжить, ты нервничала, вот отсюда и пятно». Катя держала Павлика на руках и думала: «Я желала ему смерти». И тогда она принималась его целовать и плакать, а он не понимал ее вины и пугался.

Однажды она смотрела какую-то предновогоднюю передачу. Павлик собирал на полу машину, бабушка проверяла пироги в духовке. Мигал экран, шел рябью. Поначалу так было со всеми телепередачами из Москвы. Местные остряки называли его «телевидением». Чей-то голос, пробиваясь сквозь треск и музыку, говорил о своей дочери, которая еще не видела снега, потому что родилась в Африке. На несколько секунд изображение стало почти четким. И она разглядела мужчину в пушистой шапке, больших очках и шарфе, закрывавшем пол-лица. И сразу оператор повернул камеру и показал маленькую девочку - она совочком тыкала в сугроб и ни на что другое внимания не обращала. И еще стояли возле девочки длинные, стройные ноги в очень высоких сапогах, о существовании которых Северск еще и не подозревал. Телеоператор, видимо, тоже был потрясен сапогами, потому что так и застрял на них до следующих помех. Катя не узнала Колю, как не узнал никто в Северске. Просто она почувствовала, что это он, когда, поправляя шарф у шеи, он сказал еще одно слово: «Занзибар». «Все без денег», - вспомнила Катя Тимошу и вообще все вспомнила, загорелось пятно на щеке, так что пришлось выйти в сени и приложить к нему льдинку из кадушки.

Через неделю она поехала в областной центр за медицинским оборудованием, бродила по городу, пока главный врач бегала с бумажками с этажа на этаж; наблюдала, как в самом центре, на площади, оформляли витрину: вытаскивали волоком манекенных красавиц в зимней одежде, а на их место ставили новых, в весенней. На одной из них были высокие-высокие, выше колен, сапоги, похожие на те, которые Катя недавно видела по телевизору. И тогда она пошла на почту и медленно написала телеграмму: «Сволочи, сволочи, сволочи». Молоденькая телеграфистка долго смотрела в текст, а потом неуверенно спросила у Кати: «Можно ли посылать такое содержание?» «Нужно», - твердо ответила Катя. Девочка подумала еще немного и приняла телеграмму. А через несколько дней на улице Катю ждал Тимоша. Она не сразу узнала его в большом тулупе, испугалась, когда он двинулся ей навстречу, но потом поняла, кто это, по круглым смеющимся глазам.

– Чего хулиганишь, коза? - сказал он.

Они сидели на лавочке, и Тимоша своим ласковым голосом объяснял Кате, как она не права.

– Ну чего ты хочешь? Чего? - допытывался он. - Вырази!

Выразить она не могла. И той своей телеграммы уже стыдилась. Но, как это ни странно, именно теперь - после стыда за телеграмму, после разных слов, произносимых Тимошей, - возвращались к ней спокойствие и уверенность освобожденного и оправданного человека. Будто телеграммным криком вышли из нее и боль, и ад, и грязь, а Тимоша своим приездом подтвердил: да, все вышло.

– Ты хоть чаем меня напоишь? - спросил он.

– Нет, - ответила она.

– Понял, - сказал Тимоша.

Так он и уехал, не подозревая ни о существовании Павлика, ни о том, что Катя выздоровела и он ей в этом помог. Уехал, как растворился в зиме и снеге, а у Кати с той поры пятно начало исчезать. Стало оно бледнеть и краснело, только когда случалось что-то из ряда вон... Та семья и тот дом перестали сниться, а мысли о них были... жалеющие. «Эх вы! - думала она. - Эх вы! Пугаетесь... как обыкновенные... Да если бы я хотела...» Она уже понимала, что могла при желании принести им всем зло, разрушить их хорошо пригнанный, сформированный мир, могла снять, содрать с лица Коли эту нечеловеческую лучистость... Все могла бы... И все не могла. Приезд Тимоши показал, что вся беда-обида в ней кончилась и ей теперь их лишь жалко: они там живут и боятся, вдруг она явится, свалится, как во сне, на голову. Как телеграмма.

– Ничего мне от них не надо, - сказала она Тимоше. - Мне и то, что дали, - кость в горле.

– Не, не, не, - запротестовал он. - Таких мыслей не держи.

– Держатся, - усмехнулась Катя.

– Ну и глупо! Возмещение морального ущерба... Ты хоть чаем меня напоишь?..

– Нет, - ответила она.

Так Катя выздоровела. А вскоре и замуж вышла. Вышла за учителя истории, по которому в первый год его работы в Северске сохли все тамошние невесты. Во второй год его пребывания все невесты уже только удивлялись, на третий ненавидели историка лютой женской ненавистью. Желчный, ядовитый историк речь пересыпал колючей иронией, на невест не то что не смотрел, а смотрел и смеялся, и это, как ни анализируй, доблестью не назовешь. Весь он был в истории Северска, которую чтит и которую изучал, начиная с декабристов. Оттого и приехал сюда из Ленинграда и уезжать будто не собирался, потому что считал: истории тут не на одну человеческую жизнь. Катя перешла тогда работать медицинской сестрой в школу, все про историка знала и держалась с ним холодно и отстраненно. Не было в таком поведении никакой задуманной игры, как у других невест, было оно для Кати единственно приемлемым, потому ирония его, колючая и недобрая, ее не задевала и не беспокоила. Язвит? Ну и пусть. У каждого свой способ существования. Потом оказалось, как часто бывает, что с этого ее равнодушия и отстраненности все и началось. Историк было легко с Катей, поскольку она не предлагала ему игру в «жениха и невесту», а все женщины и девушки до того если уж не сразу, то на другой день предлагали игру именно эту. Некоторые даже без расчета, инстинктивно. Катя на их фоне выглядела совсем другой. Кто-то рассказал историком все, что с ней случилось, он удивился: такая молодая, а уже столько всего. Удивился ее достоинству и сдержанности, тому, что доит она сама корову, в то время когда молоко купить можно в магазине, и одевается просто, а Северск уже всю постигал европейскую моду. Все это стало для историка тайной - а он был любитель тайн, - он начал разговаривать с ней без желчи и иронии, и это оказалось нетрудно, потому что ирония у него, как выяснилось, заемная, для экипировки. И он удивился тому, что Катя простая и естественная во всех разговорах, не лгала, чтоб произвести впечатление более умной и начитанной, и в своей естественности была прозорлива. Это она ему сказала: весь подвиг декабристских жен только в том и состоит, что они разделили плохую судьбу своих мужей. Разделили беду: мол, женская сущность - делить плохое. Ни до чего им не было дела - ни до мировоззрений, ни до царя, ни до

крепостничества. Разделить плохое, а это больше всего на свете.

– Знаете, - сказала она историку, - мужчины за женщинами не поехали бы...

Он тогда засмеялся и заметил, что они бы, мужчины, просто довели до конца дело и изменили бы саму историю.

– И я о том. Им история, - продолжала Катя. - Разделить же беду могут только женщины.

Он стал рассматривать - из любопытства - материал с Катиной точки зрения. И оказалось: ничего не пропало, а что-то даже высветилось. Разделить беду... В конце концов иногда лишь это - разделить - и нужно.

Три раза он делал ей предложение. Три раза. После третьего она рассказала ему все: про чемоданы, сберкнижку, Тимошу, телеграмму, сапоги... Вечером он пришел к ней с рюкзаком и тремя толстыми, набитыми рукописями портфелями.

– Знаешь, - сказал он Павлику, - я вдруг понял, что вполне могу быть твоим папой. Ты посмотри на меня внимательно...

– Я еще не знаю, - ответил Павлик. - А вы умеете делать порох, как китайцы?

– Я научусь, - пообещал историк.

– Мне надо сегодня, - заявил Павлик.

Скоро родилась Машка. Бабушка стала совсем старенькая, но дом вела хорошо и объясняла это тем, что силы ей дает сама хорошая жизнь. В понятие «хорошая жизнь» вошла и неожиданно возникшая Катина мать. Она появилась в Северске в самую распутицу, в войлочных сапогах. Когда они увидели ее мокрые ноги и дешевую круглую гребенку, которой она ежеминутно проводила по волосам, они с бабушкой подумали, что с ней, матерью, как обычно, все плохо. И ошиблись. Мать осела, остепенилась, жила у сына в Ухте, растила внуков, а в Северск приехала за справками для пенсии. Северск хранил несколько юных трудовых лет из ее стажа. Справки нашлись без труда, что очень удивило мать, подготовившуюся к борьбе и штурму. Она смотрела на бумажки на столе просто с оторопью, ибо сама точно не помнила, сколько и кем тут работала. Катю она восприняла почти равнодушно. «Ты не моя, - говорила, - ты бабкина». Ее был сын, о ком она рассказывала с восторгом и уважением. Катя поискала в душе обиду и не нашла. Она купила матери кожаную обувь, та очень удивилась, что на нее тратятся в этом брошенном ею доме, подержала на руках Машку, вздохнула и положила обратно. Катин муж ей не то что не понравился, но показался мельче, незначительнее собственного сына, который «какую хочешь машину соберет и какой хочешь ток починит». Прослышав от северчан про Катину московскую историю, сделала только один вывод:

– А с квартирой тебя надурили, ты должна была в ней остаться. - Но тут же подумала и добавила: - А ну ее, Москву! Я жила там. В Бескудниках. Ну и что? Красную площадь всего раз видела. А так можно и на самолете туда смотаться!

На том и кончили.

После отъезда матери бабушка стала прихварывать. Лежала, смущаясь бездельем, но душой если и не совсем счастливая - умиротворенная наверняка.

– Все в конце концов получилось, - говорила она, - все! Даже непутяшка (это она о дочери) остепенилась... А за тебя, Катька, я просто довольна... Одно тебя прошу сделать. Как-нибудь съезди в Загорск, поставь свечу Сергию Радонежскому... И скажи ему от меня за все спасибо.

Сергия бабушка уважала давно, а с тех пор, как Катин муж рассказал ей, какую роль сыграл святой в освобождении Руси от монголо-татарского ига, совсем его

полюбила. И посещение Лавры было единственной неосуществленной мечтой бабушки. Тем более был Загорск не просто святым местом, но и родиной, откуда приехала ее мать за ссыльным мужем, чтоб разделить с ним в Северске плохое. Поклялась Катя бабушке перед смертью, что съездит в Загорск и поставит в Лавре свечу.

– Павлику только не говори, - прошептала бабушка. - Не то застесняется...

Ему было тогда одиннадцать лет, а Машка как раз пошла в школу. Приказание Кати скрывать от сына правду о его родном отце бабушка выполняла, но стала вспоминать Колю. Катя испугалась, и случилось ужасное: она испытала облегчение от смерти бабушки. Не понимали люди: чего уж она так убивается над гробом? Старухе-то как-никак под восемьдесят. А у Кати разрывалось сердце, что своим потаенным страхом за сына приблизила конец самого преданного ей человека.

На похоронах бабушки встретила Катя Зою, новоявленную москвичку, которая приехала в Северск по заготовительным делам - грибов насолить, варенья из жимолости сварить. Дала Зоя и адрес и пригласила: «Приезжай! Вместе поедem в Загорск. Я там уже была и знаю где что...»

Скоро сказка сказывается...

Северск - где, а Загорск - где?

А дом, а хозяйство, а деньги на поездку? «Ну уж на следующий год обязательно...» Так и прошло пять лет...

В этом же году достали путевки в Лазаревскую, решили: Катя заедет в Загорск, а муж - в Ленинград. Потом встретятся в Лазаревской. Программу расписали не по дням - по минутам... Кто же знал, что Зоины девочки заболеют ветрянкой? Кто же мог предположить, что приведет она ее в этот дом, в этот подъезд, в эту квартиру, где скрывается в чулане дверь в ту ее жизнь, когда была она манекенной куклой, которую просто взяли и вынесли...

## 2

– Ты заметила? - спросила Милка Ларису Петровну. - У нее на желтом платье белые пуговицы. Кошмар! И живет! - Она приставила мордочку к самому зеркалу в лифте и разглядывала себя любовно и заинтересованно. - Заметила пуговицы?

– Нет, - ответила Лариса. Она заметила, но не хотела, не могла, ей противно вести с дочерью этот бесконечный разговор на тему, кто как одет.

– Бабыё! - сказала Милка.

Пока Лариса открывала дверь, Милка гляделась в отсвечивающее стекло дверцы лифта, лифт уехал - она стала смотреть на свои ноги, длинные, стройные, высоко переплетенные ремешками модных босоножек. Глаз Милки постоянно, всегда обращен только на собственное отражение или непосредственно на руки или ноги. «Одна надежда, - думала Лариса, - пройдет, в пятнадцать лет это почти естественно...» Но вот слово «бабыё» и способность дочери, стремление ее видеть только несоответствие, только дисгармонию, только безвкусицу в других людях - это ей, матери, нeвозмогу. Просто противно. Ну любишь себя - люби. Других зачем ненавидеть?

Они вошли в квартиру, и Милка замерла возле зеркала. На даче у них нет зеркала в полный рост, и Милка тут же прилипла.

– Я выросла? - спросила она мать. - Или меня оптически удлиняют босоножки?



Лариса не стала отвечать.

– Ты что, не слышишь? - закричала Милка.

Вот именно тогда Лариса решила, что спокойней и разумней на ближайшие часы поспорить с дочерью, чтобы каждую минуту не обсуждать с ней цвет Милкиных глаз, форму ее ушей, объем талии. Да мало ли что можно пообсуждать в девочке, выросшей до метра семидесяти двух сантиметров и весящей соответственно строгой французской норме пятьдесят восемь килограммов?

– Тебя зеркало оглуляет, - сказала Лариса. - Ты в нем просто клиническая идиотка в переплетенных босоножках. Еще есть вопросы?

– Хамство - признак бессилия, - ответила Милка. Но больше не приставала.

Ларисе предстояло собрать вещи, закрыть мебель чехлами, вымыть волосы - вечером у них поезд. Они едут в Болгарию, в отпуск, где их уже ждут родители мужа.

А Милка помаячила возле зеркала, нашла себя интересной, обольстительной и пошла на балкон. Балконная дверь к соседям была открыта, что показалось удивительным: ведь соседка уехала.

– Эй! - крикнула Милка. - Кто там есть?

Женщину, которая приходит следить за соседкиной квартирой, она только что встретила внизу. Безумная такая, типичная тетка с авоськами. Кто же тут остался? Милка не любила неотвеченные вопросы, она просто наступила ногами на ларь и на какой-то миг ощутила ужас высоты и холодящее желание спрыгнуть, чтоб эту высоту победить. Но спрыгнула - не дура же она! - не туда вниз, а за ларь, на чужую территорию, и остановилась перед открытой дверью.

– Эй! - бросила она в темноту двери. - Эй, отзовитесь!

Павлик и Машка только-только разложились на кухне поесть, нарезали хлеб, разлили по тарелкам Зоин суп.

– Кто-то там кричит, - с тихим испугом прошептала Машка. - Слышишь?

Павлик встал и вышел на балкон.

– Привет! - сказала Милка. - Ты кто?

Она видела, как засмутился и растерялся мальчик, не зная, что правильнее ответить на этот четкий вопрос. Милка же знала единственно правильный ответ, который в их компании считался. Надо было говорить так: «Представьтесь, леди (синьор, мисс, сударь и т.д.), будьте любезны, сами, я отвечу вам тем же». Олухи же на этот вопрос отвечают собственными именами, кретины вопят: «Я - человек!» Отличники учебы и активисты-общественники протягивают руку и чеканят фамилию. И почти никто никогда не может сказать так, как надо, с достоинством.

– А сама ты кто? - спросила, выныривая из-за Павликовых рук, Машка. - Сама ты кто?

По форме это было грубо и недипломатично, по существу - тот самый высший ответ из всех возможных. Милка засмеялась и отодвинула ларь, как бы проход.

– Соседями будем, - сказала она. - Я - Милка.

– Павлик... Павел, - смутился и поправился Павлик.

– Машка, - сверля Милку зелеными глазами, ей в тон представилась Машка. И с завистью посмотрела на Милкины босоножки.

Через пять минут Милка все уже знала, почему они здесь, куда едут и откуда, сообразила, что женщина с белыми пуговицами на желтом платье их мама, и с пристрастием оглядела, как одеты Машка и Павлик. «Те же пуговицы!» -

философски-снисходительно решила она, почувствовав такое недостижимое превосходство, из которого любовь-жалость просто вытекает сама собой. Милка удивилась странно возникшему этому чувству, удивилась и согласилась пообедать вместе с ними. «Ну конечно! - подумала она, окидывая взглядом кухонный стол. - Все к пуговицам».

– Я вхожу в долю, - сказала она и метнулась на балкон, опробуя ею же устроенный проход у ларя.

Через минуту она вернулась, неся банку красной икры, банку крабов и две бутылки пепси-колы. Откуда Милке было знать, что банки эти приготовлены матерью для друзей-болгар, а пепси - ей же в дорогу. Лариса, стирая дочерины трусики в ванной, слышала, как хлопнула дверца холодильника, прикинула, что могла схватить там дочь, решила: та схватила глазированные сырки - она их любит, - обрадовалась, что Милка обошлась таким сырковым способом, а не пришла канючить: «Есть хочу! Что-нибудь в рот...» Она всегда делает при этом брезгливую мордочку, абсолютно не соответствующую желанию поесть. Ей, Ларисе, пришлось доставать справку, что у Милки диета, чтоб не ковырялась она демонстративно, с отвращением в школьных завтраках, не замирала смертно с котлетой на вилке, не задавала громко, на всю столовую вопросы: «А я не умру? Скажите, я не умру от этой пищи?» Она доводила до бешенства буфетчицу, учителей, они просто умоляли Ларису сделать хоть что, только бы не ела Милка вместе со всеми. Взяли справку о несуществующем гастрите. И теперь она устраивала на переменах «провождение на пытку едой», и уже чьи-то мамы жаловались, что их дети замирают над тарелками и отказываются есть «школьное», подражают Милочке.

Милка бросила все на стол и сказала Павлику:

– Вспарывай!

Он быстро взял консервный нож, а потом посмотрел, что это за банки, и положил нож обратно.

– Отнеси назад! - попросил он. - Что у нас, праздник, что ли?

Милка схватила нож сама и именно вспорола, а не открыла банки.

– Ура! - завопила Машка. - Я это страшно люблю!

Они ели суп с хлебом, намазывая его красной икрой. И Машка пальцем любовно выравнивала на хлебе икринки, а Милка ела только икринки, Павлик же старался намазывать так, чтоб икринок на хлеб попадало как можно меньше.

Лариса пошла искать дочь, обнаружила проход на балконе, постучала в стекло - не слышно, шагнула дальше, на смех и все увидела: вспоротые банки, суп и пепси, разлитую по бокалам.

– Мама, знакомься! - закричала Милка. - Эти люди из Северска. Мы проголодались!

– Приятного аппетита! - сказала Лариса. Она хотела было уйти, но остановилась и посмотрела на непочатые крабы. - Пусть ваша мама потом отварит рис и положит туда крабы. Разотрет и с майонезом...

– Вы возьмите, - засмутился Павлик. - Мы их не будем вообще...

– Будете! - возмутилась Милка. - Рис с майонезом - и салат! Крабный!

Лариса возвращалась и вспоминала: «Северск, Северск... Что-то с ним связано? Нет, вроде ничего...» Более сильная эмоция от вида хлебающей суп дочери увела мысли от Северска, она подумала, что надо было иметь хотя бы двоих детей... Но и она у своих родителей одна, и Коля один, такие все теперь женщины - деловые,

загруженные дамы. Один ребенок - просто акт приличия, не больше. Но тут же подумала: не то! Она родила бы и второго, не было у нее преграждающих, идущих вопреки этому целей... Просто она до сих пор не уверена, что их семья навсегда. Есть в ней какая-то то ли недостроенность, то ли недоговоренность, все будто бы и хорошо, но в любой момент может стать иначе. И она этому не удивится... А Северск, оказывается, вот что... Коля плавал туда на байдарке незадолго до их знакомства. Если он делал что-то не так, его папа, ее свекор, говорил всегда:

– Только не устраивай нам Северск, понял?

– Ш-ш-ш - успокаивала его свекровь.

Но то было давно, давно, давно... Эти дети из Северска. Милка кормит их икрой, приготовленной для болгарских друзей. Лариса вытащила из холодильника коробку конфет для тех же друзей и перепрятала ее в другое место.

– Посуду! - велел Павлик Машке.

– Потом! - ответила она.

– Сразу! - сказал он.

– А что с ней станет, если постоит?

– Ничего! - махнула рукой Милка. - Постоит, как миленькая. Пошли слушать музыку. У тебя есть «Би Джиз»? «Смоки»?

– Я даже не знаю, что это такое, - пожал плечами Павлик.

– Не знаешь? - закричала Милка. - Не знаешь?

– Давай договоримся сразу, - мирно предложил Павлик. - Я этим не горю и не понимаю.

Милка глубоко вздохнула, чтоб не сказать все, что ей хотелось сказать по этому поводу. Она еще продолжала любить примитивных провинциалов самой жалостливой любовью из всех возможных любовей на земле, и то состояние превосходства, которое росло и росло в ней, диктовало не грубый крик и насмешку, а королевскую снисходительность и участие в судьбах народов неразвитых, темных и слабых.

– Идемте, дети мои! - сказала она со всей нечеловеческой мягкостью.

Она поставила их перед японской системой, уверенная: если уж не искусство, то техника взорвет этого бедно-примитивно воспитанного мальчика. Кто же ходит в таких невообразимо широких штанах? Если бы хоть один из их школы пришел в подобных собирать макулатуру, его бы изъязвили так, что родителям не хватило зарплаты вылечить его, бедолагу. Похожий случай у них уже был. Мальчик загремел в больницу. К ним в класс приходил господинчик и поповским голосом учил их быть добрыми. Оказалось, врач-психиатр. Они чуть не лопнули от смеха... Ведь стоило купить парню нормальные джинсы - и он выздоровел. При чем здесь доброта? Джинсы или есть, или их нет.

– Ну? - спросила Павлика Милка, поставив его перед системой. - Этим ты тоже не горишь?

– Горит! Горит! - запричитала Машка, каким-то непостижимым чувством сообразившая, что надо бы ее Павлику восхититься всеми этими роскошными машинами. Машка даже подумала: повосхищаться чем-нибудь у Милки полагается... Хотя бы из вежливости. Они все-таки в гостях.

Система была что надо, и Павлик это оценил. Они сидели в мягких, круглых, как шары, креслах и все испытывали разное. Машка - щенячий восторг от всего, что ее окружало, Павлик - смущение и подавленность всем, что его окружало, а Милка -

неудовлетворение, ибо сияние Машки хоть и приятно, но не главное. Главным был этот непонятный мальчик, который, как оказалось, принес к ней в комнату ту самую, открытую ею банку с крабами. Принес и поставил на стол, будто про рис и майонез ему ничего сказано не было.

– Или возьми обратно, или я выброшу в мусоропровод, - заявила она ему.

– Это твое дело, - ответил Павлик.

Ерунда все это - крабы, икра... Конечно, дефицит и все такое прочее, но у них в семье принято и к дефициту относиться как к вещам простым и распространенным. «Не делать культа!» А этот делает культ из жестяной банки. Она брезгливо взяла ее за отогнутую крышечку и понесла на кухню. Там она как можно громче стукнула дверцей мусоропровода, вернулась, села в кресло и посмотрела на своих гостей. Они молчали.

– Они бы все равно пропали. Жара. Открытые... - дала Милка несвойственное для себя самой разъяснение.

– Это было глупо, - сказал Павлик.

– Не надо делать из еды культа, - небрежно бросила Милка, чтобы оставить все-таки за собой последнее слово. На самом же деле ей уже хотелось уйти от этих проклятых крабов подальше...

– А что такое культ, по-твоему? - засмеялся Павлик. - Объясни!

– Культ? - Милка брезгливо сморщилась. - Культ личности. Культ тела... Культ еды...

– И прочие культяпки, - перебил ее Павлик. - Скажи лучше, что близко отсюда, чтоб посмотреть...

– Тебе, конечно, нужны музеи, - ответила Милка. - У тебя, конечно, культ музеев...

– Хватит, а? - миролюбиво сказал Павлик. - Я серый, темный, убогий... Так что же ближе?

Милка задумалась. Дело в том, что она уже побывала в Лувре и Дрезденской галерее. В Лувре - ей тогда было семь лет - и она очень куда-то захотела. Бабушка сводила ее куда надо, а возвращаться в залы Милка не желала, уперлась, закапризничала. И из-за нее бабушка так и не видела Мону Лизу. Это была веселая домашняя история о том, как бабушка из-за Милки не приобщилась к вечному искусству. Историю рассказывали тысячу раз, она обросла никогда не существовавшими подробностями. Беспроигрышная гостевая байка для любого застолья. Папа привез бабушке роскошную репродукцию Моны Лизы, и она повесила ее на самое видное место. Когда Милка приходит к ним в гости и встречается глазами с Моной, ей почему-то становится не по себе. Она считает эту картину гениальной, хоть в том трепе, который идет у них о Лувре, о своих ощущениях никогда и никому не говорит. Она считает картину гениальной потому, что есть у нее, Милки, полная уверенность: Мона - живая женщина. Этому нет рационального объяснения, но вот приходит она к бабушке, и они с Моной смотрят друг на друга, глаза в глаза, и Мона смеется над нею, Милкой. Фигушки - доброжелательно! Она смеется над ней с сарказмом, с веками отстоянной иронией. Она говорит ей: «Эх ты, девчонка!» И Милка отвечает ей: «Уродина!» Просто умирает от насмешки Мона, и уголки ее тонких губ изгибаются в невообразимо презрительную гримасу. «Ты маленькая злая обезьяна!» - дразнит она Милку. «А ты безобразная старуха!» - парирует Милка. «Неужели?» - хохочет Мона. «Сколько ты

заплатила художнику, чтоб он тебя намалевал? Ведь смотреть на тебя можно только за большие деньги». - «Ну не смотри, дорогая, я ведь ничего тебе не заплачу...» - «Я и не смотрю... Это ты пялишься...» - «А мне интересно... Хочешь, погадаю? Ты выйдешь за старика, и он будет пить твою кровь...» - «Какая дура! Судишь по себе?» - «По тебе, гадкая девчонка». - «Заткнись, страшилище!» Так они препираются, а бабушка украшает историю о Лувре фактом преклонения Милки перед великим Леонардо. «Приходит, стоит и смотрит, стоит и смотрит...» Знала бы она, как подчас площадно переругиваются эти двое - московская девчонка и таинственная флорентийка.

Других впечатлений от картин великих мастеров у Милки не было, а в Третьяковку, Эрмитаж и Пушкинский музей она просто не ходила.

Конечно, хорошо бы сейчас запустить эту историю о Лувре, вот бы Машка поохотала! Но этот мальчик... Она таких терпеть не может. И, видимо, не зря...

- А собственно... Что ты хочешь? - лениво спросила она. - Какие у тебя интересы?

- История, - выдохнула Машка. - История... Он помогает папе писать работу.

- Он ученый? - удивилась Милка.

- Учитель истории. В школе, - ответил Павлик.

- Учитель пишет работу?!

- А что?

- Наши учителя едва ноги носят... Среди них нет не то что пишущих - читающих... А может, даже грамотных...

И Милка взнуздала конька... Педагогика не престижна. Идут в нее только неудачники. Милка сыпала определениями, сравнениями, не стоившими ей никаких усилий, ибо они ею слышаны от других и взяты на вооружение. Она даже не замечала, что каждое из них повторяет с интонацией первоисточника.

Лариса подслушивала. Когда Милка сказала, что воспитание громко, как битье посуды в серванте, она бухнулась на кровать: так это было смешно и похоже на подругу Ларисы, выбившуюся в люди троечницу, пустейшую и глупую бабу, которая всем на свете, знающим ее способности, считала долгом пояснить - не в ней дело, а в учителях, не сумевших раскрыть «изящный ларчик ее спрятанных возможностей». Все над ней смеялись: какие там возможности? Какой ларчик? Мозгов ровно для четырехлетки. «Киса! А чем отличается формула воды от скорости света?» - спрашивали ее в тех случаях, когда она очень уж воспаряла в критическом раже. «Не сбивайте меня с толку, - говорила она. - Я забыла, но если захочу - вспомню». И вот Милка - ну не дура же дочь, не дура! - произносит идиотские слова с умным видом, а двое милых ребят слушают ее разинув рот. Она, Лариса, это не видит - чувствует.

- Ты меня окончательно убедила, - сказал Павлик, - что надо идти в учителя.

- Что?! - закричала Милка.

- Он хочет! Хочет! - затараторила Машка. - Историком... Как папа... Или как Анна Петровна. - Машка встала на цыпочки и прошла по комнате, высоко в потолок подняв мордочку, но не задела при этом ни одного из круглых предметов, которыми была заставлена Милкина комната. Милка с удивлением посмотрела на девчонку, на глазах перевоплотившуюся неизвестно в кого и живущую сейчас в другой жизни, недостижимой, таинственной и прекрасной.

- Ну хватит, обезьяна, - нежно сказал Павлик. Машка, довольная, фыркнула и

вернулась в кресло. - Это она изобразила нашу учительницу литературы, - пояснил Павлик.

- А ты правда хочешь быть учителем?

- После твоих слов я понял, что у меня просто нет выхода, - засмеялся Павлик.

- Надо повышать престиж педагогики.

- Ненормальный! - воскликнула Милка. - Даже девчонки - ни одна! - не хотят быть учительницами. Это если уж совсем конец света... А мальчишки...

- Ты всегда поступаешь как все? - поинтересовался Павлик.

- Я всегда поступаю как я! - парировала Милка.

- Нет, - сказал он. - Ты со мной все время говоришь от имени народа, а я никак не возьму в толк, какой народ ты представляешь...

Вот этих слов - «Милка - представитель народа» - Лариса не выдержала, совсем расхохоталась и вышла к ним.

- Можно, - спросила она, - поспорить?

- Он хочет быть учителем, - объяснила Милка. - Тут не спорить надо - плакать...

- Очень хорошо, - ответила Лариса. - Педагогика - самое что ни на есть истинно мужское дело...

- Ой! - заохала Милка. - Ой! Как не стыдно лицемерить... Ты же сколько раз говорила, что учителя - самая серая серость.

- Знаешь, - сказала Лариса Павлику, - я это правда говорила. Вот она, - Лариса показала на Милку, - умничает в школе, задает дурацкие вопросы, провоцирует всех и вся, а учителя ей ответить не могут. Теряются...

- Так это же не они виноваты, - тихо произнес Павлик. - А она... Знаете, как говорится, иной дурак столько может задать вопросов, что и десять умных не ответят. Вы извините, конечно...

- Но они все на одно лицо! - воскликнула Лариса. - Ведь с этой неуправляемой наглой стихией - современными школьниками - надо уметь справляться... Не плакать же перед ними! Они от слез пуще звереют... Вы в Северске такие же?

- Я знаю одно, - сказал Павлик. - Нашему папе никто никогда глупых вопросов не задает. Спровоцировать его невозможно. Умничать бесполезно. Он же умней и лучше нас всех в сто раз...

- В миллион, - поправила Машка.

- И у вас все учителя как ваш папа? - ехидно спросила Милка.

- Почему все? Всякие есть... Некоторые тоже плачут... Некоторые орут и мечтают о палочной дисциплине...

- А! - завопила Милка. - Вот видишь!

- Знаешь, - сказал Павлик, - каждому человеку в жизни, в сущности, нужен всего один учитель... Настоящий. Остальных можно стерпеть...

- У меня нет такого! - гордо заявила Милка.

- Жаль! - вздохнул Павлик.

- А что за работу пишет твой папа? - поинтересовалась Лариса. - Я краем уха из кухни слышала...

- О северском поселении декабристов. И вообще... Об их нравственном кодексе...

- Он еще не защищался? - спросила Лариса.

- Он считает, что не в этом дело.

– Не задавай, мама, глупых вопросов, - сказала Милка. - К нам в гости залетели идеалисты-бессребреники. Вас еще не занесли в Красную книгу?

– Милка! - закричала Лариса. - Как тебе не стыдно!

– Не стыдно! Не стыдно! Не стыдно! - затараторила она. - Не стыдно, потому что я в это не верю... Все наши знакомые пишут работы! Все, как один! Я с пеленок слышу слово: защита, защита, защита. Знаешь, - улыбнулась она, - я, маленькая, просто была уверена, что на взрослых в определенный период совершаются нападения и им надо защищаться. Я даже плакала, что наш папа не сумеет...

– Не слушайте ее, - перебила Лариса. - Все не так страшно, как она говорит...

– Я понимаю, - ответил Павлик. - Наша мама тоже считает, что папина работа - готовая диссертация, а папа убежден, что дело не в этом...

– В чем же? - с вызовом спросила Милка.

– А ни в чем! - засмеялся Павлик. - Извините, - повернулся он к Ларисе.

– Нет, пусть скажет! - требовала Милка. - Я же хочу знать, кто дурак. Мой батюшка, который защищался, или их батюшка, который говорит, что не в этом дело...

– Почему кто-то обязательно должен быть дураком? - удивился Павлик. - Если человек занимается делом, которое ему нравится, - это уже награда... Ты сама подумай, что выберешь? Делать работу, которую любишь, и получать обыкновенную зарплату или большие деньги за то, что не нравится?

– Глупый вопрос, - ответила Милка. - Что такое обыкновенная зарплата? Что такое большие деньги?

– Да, верно, - смутился Павлик. - Тут нет точных критериев.

– Когда выбираешь работу, - сказала Лариса, - а это бывает в молодости, вообще не думаешь о деньгах. И ты не думаешь о них, не прикидывайся, - это она Милке. Та презрительно фыркнула. - А когда уже начнешь делать то, что нравится... Ни за какие деньги не бросишь, так?

– Нет, - неожиданно не согласился Павлик. - Бывают всякие ситуации.

Лариса растерялась и рассердилась. Ну что она - сама этого не знает? Что она, не сталкивалась со своими родителями, когда они ей преподносили расфасованные по дозам стерильные истины-догмы? И вот на тебе - она сама их глаголет, а дети...

– Человеку надо много денег, - сказал ее ребенок, - потому что ему много надо... И все! И точка! И хватит об этом! Я честно говорю то, что думают все... Даже ты! - крикнула Милка Павлику. - И не финти!

– Я не финчу! - покраснел Павлик, а Машка хихикнула: противоестественным для себя самой образом она неожиданно желала брату поражения в этом разговоре. Ей очень нравилась Милка. Если бы в их семье употребляли слово «обожаю», то оно бы стоило ей сейчас для выражения восхищения этой девчонкой. Но слова «обожаю» в обиходе не было, поэтому Машка сказала себе «ух!» и хихикнула. - Не финтю! - поправился Павлик.

– Вот! - торжествовала Милка. - Ты и споткнулся. Тебя наказал бог... Потому что ты наводишь тень на плетень. Правильно я цитирую народную мудрость? - спросила она Ларису.

Той стало жалко Павлика. Ей как раз очень хотелось, чтоб он выдал Милке что-нибудь эдакое и она бы заткнулась. И Лариса пошла ему на выручку.

– Надо свое дело делать хорошо, - сказала она. - И тогда все придет. Не ахти какая мысль, но по крайней мере честная и без претензий. И если есть у твоего отца

интересная работа, то она в конце концов сама о себе заявит. Так?

– Не совсем, - ответил он. - Близко, но не совсем... Вернее, то, что вы говорите, - это безусловно... Но видите ли... Нельзя защищаться чужим благородством и чужой порядочностью. Нельзя писать о кодексе чести, а самому суетиться, суетиться, суетиться... Надо суметь жить так же, как говорим... Вот если сумеешь... То тогда уже больше ничего и не надо, да?

– Не надо? - вскипела Милка. - Не надо? Вот это номер! Говорить о кодексе и не заработать на нормальные джинсы? Человек живет один раз и должен жить хорошо одетый... Иначе ни про какой кодекс его слушать не станут... Плохо одетый человек неубедителен. Мы, во всяком случае, его слушать не будем.

– Вы - это павлины? Или попугаи? - спросил Павлик. - Это только у них оперение - первейшая доблесть... Слоны уже на другом уровне... Они все, извините, серые...

– А мы, извините, не слоны! - закричала Милка. - И вообще хватит! Все! Надоело! Учись хоть до посинения, никому твои декабристы не нужны... Никто никому не нужен! - И Милка выскочила из комнаты.

– Она так поступает, когда ей нечего сказать, - объяснила Лариса.

– Мы пойдем, - зашепел Павлик. - Мы еще посуду не помыли, так, Машка, или не так?

Они ушли по балкону, Лариса подумала, подумала и поставила ларь на место. Вряд ли они придут еще, да и Милка вряд ли пойдет к ним... А мальчик хороший. В общем-то Милка права. Он идеалист. Но это естественно. Тихий Северск. Папа - учитель, в доме разговоры о кодексе декабристов. И никто не озабочен цветом пуговиц... Другие проблемы... Она сама из строгой семьи, у них тоже о тряпках вслух говорить не принято. Это удивительно, если представить, что всю жизнь ее папа провел за рубежом. Он советник посольства. Но когда она приехала в Москву кончать школу и жила у тетки, у нее было форменное платье, юбка и две кофты. И все. Ей не позволялось брать в школу то, чего не могло быть у других. И этот железный аскетический принцип выдерживался в семье до конца, и до сих пор она, имея уже собственные возможности, помнит железное, вдолбленное ей в голову правило: а ты стань интересной в неинтересной одежде. Боже, сколько слез она пролила по этому поводу! Ненавидела отца с матерью, а потом все прошло... Конечно, родители ее - крайний случай. Но ведь нельзя же и так, как ее собственная дочь... Она, Лариса, сама виновата. Она идиотка. Было это в ней, было... Пусть дочь будет как куколка! И они в четыре пары рук со свекрами делали свое черное дело - куколку. Теперь же, оказывается, ни с какими кодексами не пробиться сквозь Милкино оперение. Может, все-таки это пройдет? А не пройдет? Вот бы ей, Ларисе, такого мальчика в сыновья... Чтоб он читал книги, задавал вопросы, она бы не могла на них ответить и вынуждена была читать, листать словари, узнавать. Она росла бы вместе с сыном... Фу, какая чушь! На нее всегда так размягчающе действуют идеалисты. Пора их, правда, вносить в Красную книгу. А ей жить с дочерью, которая вся плоть от плоти... Тимоша про нее говорит: «Как папа... Человек будущего...» Надо будет ему позвонить и сказать, что они уезжают сегодня. Пусть придет помахать ручкой.

Милка села на край ванны и пустила воду. Она себе не нравилась. Чего она прицепилась к этим штанам? Она ведь сразу видела, что они низкий ширпотреб, но когда он признался, что хочет быть учителем, она представила: этот мальчишка



входит в их класс. Вот было бы улю-лю... И теперь ей хотелось сказать что-то такое, чтобы он узнал, почувствовал это будущее в его жизни улю-лю... В конце концов не ими придумано, но мир состоит из идеалистов и материалистов, а не из слонов и попугаев. Он, видите ли, слон... Если уж настаивать на таком разделении, то лично для нее попугай предпочтительнее. Он быстрее, изящнее, эмоциональнее и как-никак говорит - что еще можно сказать в защиту попугая? Бьющая в ванну вода была разноцветной от яркого кафеля, абсолютно попугайная вода. Но дело не в ней. Не в воде. Дело в том, что Милка считала: она должна понравиться этому мальчику, по всем законам природы. С самой весны она знает, что в нее непременно влюбится кто-то насмерть... Разных там поклонников у нее навалом - в кино сходить, потанцевать, по телефону потрепаться. Но уже несколько месяцев она чувствует: все это чепуха и вот-вот что-то произойдет. Появится настоящий хороший человек, который станет сохнуть, мокнуть, который сможет убить, украсть ради нее. И это будет прекрасно и неуправляемо, и ее понесет, потащит в неизвестном направлении то, что известно всем как великая любовь. Она своих знакомых в возрасте до двадцати пяти лет (это предел) проверила на силу чувств и убедилась что никто из них ради нее не то что украсть - перебежать не там улицу не захочет. Все идут по переходу, все платят в трамвае, все три раза в день питаются. Она спросила у Тимоши: «Почему все мальчишки такие противные?» Тимоша ответил: «Потому что все твои знакомые - выпаренные в колбе дети... Единственные опытные экземпляры». Она приходила в школу и кричала: «Эй, вы! Из колбы! Давайте глотать микробы». Однажды они собрались компанией и выпили вина. В шестом классе. Хохотали до падения на пол, а в общем ничего страшного не случилось. Никто не вылез из колбы. Недавно Милка устроила жуткое испытание одному потенциальному поклоннику. Она в его квартире села на подоконник и свесила ноги на улицу на пятнадцатом этаже. Ждала реакции. Произошло типичное окисление: он позвал маму. Та забилась в конвульсиях, позвонила Милкиным родителям, у бабушки случился обморок, а мальчик - эта колбяная вонючка - доказывал ей, какие были бы неприятности у его папы на работе, если б она свалилась. «Я могла бы убиться!» - сказала Милка. «Это твое личное дело», - ответил он ей. А до этого он поцеловал ее в лифте, и они ездили вверх-вниз, вверх-вниз, потому что им нравилось целоваться и ездить.

Милка закрутила воду и твердо решила: этот северский мальчик будет у нее ходить по проволоке сегодня же. Иначе грош ей цена. А то, что у нее для всех ее действий - времени всего до поезда, так еще лучше. Это мобилизует. Милка представила: уходит сегодня вечером экспресс в Болгарию, а по шпалам, сбивая в кровь ноги, бежит этот идеалист, этот декабрист, этот слон, этот Павлик, этот будущий учитель, бежит, и все остальное, кроме того, что Милка уехала для него навсегда, не имеет значения. Может быть, он даже бросится под поезд. Тут же, на вокзале. Но она, ничего об этом не зная, будет стоять в коридоре вагона, и на нее будет приходить смотреть весь поезд. «Это та девушка, за которой бежал юноша?» А Тимоша напишет ей письмо: «Коза! Мы его похоронили. Было много цветов, но тебя никто не винит». Милка затормозила на этой своей мысли. Чего она напридумала - ее никто не винит? Пусть винят! «Коза! Мы его похоронили. Мать тебя проклиняет». Так лучше. Ближе к жизни. Стоит с идеалистами пять минут пообщаться - и начинаешь сочтаться чем-то сладким и приторным. Она отомстит ему за все. За попугая. За крабы. И за это письмо, которое Тимоша мог бы написать,

если б Милка его вовремя не остановила.

Она вернулась к себе в комнату и открыла шкаф.

– Правильно! - сказала Лариса. - Собирай вещи. Только не бери лишнего...

Милка не слушала мать. Она трогала плечики, на которых висели ее бесчисленные платья, и решала наиважнейшую научную проблему: какое убивает наповал? Какое из них самое то, в чем она начнет и завершит формирование, превращение мальчика-идеалиста в мальчика, бегущего по волнам, то есть по шпалам? Она сняла японское мини, не платье вовсе, а кусочек цветной тряпочки, за которое бабушка отвалила в валютном магазине кучу денег. Милка надела его один раз, на день рождения подруги, и испортила той праздник. Они все на нее пялились, даже подругин папа, а подруга потом плакала, чем очень и очень порадовала Милку. Пусть неудачник плачет!

Машка вымыла посуду, вытерла руки бумажным полотенцем, вышла из кухни и проверила, что делает Павлик. Брат сидел на диване и читал какую-то книгу. Машка напрягла волю и уставилась на него испытующе - без результата. Павлик глаз не поднял. Это и требовалось доказать. Когда он чем-то увлечен, то всем остальным, живущим на земле, можно делать что угодно. Для гарантии Машка слегка крикнула, но и тут Павлик остался безучастным. Тогда она осторожно закрыла дверь в комнату и нырнула в кладовку. Там она встала коленками на пол и прильнула к той самой двери, в которую совсем недавно стучала кулаком. Теперь же она сидела тихо, как мышь. В той квартире происходила какая-то жизнь, какое-то шевеление, но через толстую дверь информация поступала в недостаточном количестве. Машка подула в замочную скважину, выдула из нее устоявшуюся, почти вековую пыль. Пыль вылетела громко. Машка даже испугалась: не услышат ли все полет выдуваемой пыли? Потом сообразила, что громко это только для нее, потому что носом в замочной скважине. А для других громкой пыли не бывает. Если уж случится такое - это же феномен! Машка задумалась: что бы означал этот феномен, если б он был? Может, даже неживая природа имеет право на протест, когда ее выселяют с насиженного места? Или пыль лично ей посылает сигнал: стыдно, девочка, подслушивать и подглядывать. Но она это прекрасно знает и без всяких сигналов. Знает и другое: жизнь устроена так, что самое интересное им, детям, приходится получать запретным путем. А когда ты уже знаешь «самое интересное», никто по этому поводу не волнуется. Куда денешься от того, что есть? Но каждую крупицу стоящего, нужного ей знания Машка отвоевывает себе самыми неправдоподобными путями - подслушивает, подглядывает, лезет, куда не надо, задает не те вопросы, ждет не те ответы. И в результате она в свои двенадцать во всем разбирается лучше Павлика, которому почти семнадцать. Она давным-давно знает, как рождаются дети, она знает, кто такие проститутки и почему возникают перебои с мясом.

Эта девочка Милка ее просто потрясла. Она хочет про нее знать все. Милка не похожа ни на кого! А это Машка ценит необыкновенно. Она еще в пять лет поняла: отличаться лучше, чем быть похожей. Поняла, когда пришла к ним в садик проверочная комиссия из самой Академии наук. «Приперлись за тридевять земель, - сказала тогда нянечка. - Денежки у государства не считаны». Их тогда всех вырядили в белые гольфы и черные туфельки. Потом посадили в единый ряд по росту, и от такого количества белых одинаковых ног Машку чуть не стошнило. Ее

отвели в туалет, там у нее все прошло, но, когда она вернулась и опять увидела эти ноги в ряд, все повторилось. Тогда она нашла свой шкафчик, вытащила свои старенькие гольфы и надела их. Ее в таком виде решили не пускать в главный «демонстрационный» зал, где уже началось представление. Она сама вошла, когда нянечка, сторожившая ее в спальне, отлучилась на минутку. И тут-то выяснилось, что Машка в серых, штопанных и, скажем прямо, не в самых свежих гольфах представила для комиссии самый большой интерес. Непосредственна. Остра. Находчива. Такими словами перебрасывалась комиссия, видимо, имея в виду, что смысл их до детей Северска, одетых в белые гольфы, дойти не может. С тех пор Машка не носит гольфы вообще; в борьбе с ними, а также со всеми силами, пропагандирующими именно их, она закалилась и к нынешнему своему возрасту уже четко знала: общие действия не всегда самые лучшие. И теперь, если в школе собирали макулатуру, Машка в поте лица тащила через весь город спинку железной кровати... А если все сушили гербарий, она выкармливала хомяка до размеров кошки. Их отряд собирал материал о бесстрашной стюардессе Надежде Курченко - Машка купила альбом и написала на обложке: «Анжела Дэвис». Вот какая девочка выдувала пыль из замочной скважины, не подозревая, что клубится сейчас вокруг ее носа та самая пыль, которая была поднята малиновой дорожкой, когда ее собственная мама отчищала эту дорожку от чернильного пятна. То ли эта пыль несла остаточную информацию о неизвестной Машке маминой жизни, то ли оттого, что, кроме пыли, ничего не было видно и слышно, только Машка разозлилась. Всякий путь неплох, когда в конце концов получается результат. Если же результата нет, то остается один путь - стояние на коленях в кладовке. Противное же дело, как ни смотри! Машка фыркнула, встала и тут услышала.

– Ты собираешься появиться в таком виде? - спросила женщина.

– А что? - ответила девочка.

– Он прав... Ты попугай... Тебе что, доставляет удовольствие доказывать ему именно это?

– Меня не интересует точка зрения слона...

– А сама вырядилась...

– Надо же им показать, как одеваются люди! На них же страшно смотреть!

– Врешь! - возразила женщина. - Очень милые, умные ребята. Особенно мальчик. Девочка с нахалинкой.

Женщина поперхнулась, видимо, подавилась прицельно пущенным, гневным Машкиным флюидом.

– Ничтожества! - И Милка повторила по складам: - Нич-то-жест-ва! Оба! А он в первую очередь.

– К чему же тогда это мини?

– Я опробую...

– Кого?

– Платье! Платье! - закричала Милка. - Говорят, оно вызывает слезы...

– Оно вызывает смех, - сказала женщина. - Ты в нем как щенок в эполетах.

– Ну и пожалуйста! - ответила Милка. - Щенок так щенок... У меня сегодня уши лопнут от всеобщих зверных ассоциаций.

– По-русски говорят «зверных»...

– А я говорю - «зверных»...

– Зверных - дверных... - засмеялась женщина.

При этих словах Машка почувствовала, что краснеет, она просто ощутила, как они разглядывают ее сквозь дверь: ибо что такое дверь, стена, перегородка, если надо увидеть? Машка тихонько выбралась из кладовки, вздохнула и вошла к Павлику.

А Милка, кинув еще один взгляд в зеркало, решила, что ей не хватает одного штриха - подкрашенных ресниц. И она бросилась к матери в комнату, где - знала - в левом ящичке трельяжа лежит французская тушь, «естественно и непринужденно удлиняющая ваши шелковые ресницы».

Лариса же с тазиком белья вышла на балкон и стала его развешивать.

«Почему, - подумала она, - всякая чистота выглядит наивной и глуповатой, а цинизм всегда ходит в умниках? Почему доброта почти всегда слабость, а зло кажется неуязвимым?» И тут она вдруг поняла этого чужого, незнакомого учителя истории. Он же знает все, знает! И потому свой образ мыслей он доказывает образом своей жизни. Таким и только таким способом он хочет свою убежденность передать сыну. Иначе тот ее не приемлет. Вот в чем их сила, этих пришельцев, - в понимании друг друга, в том, что они не раздвоены, растроены, расчленены и так далее. Как их семья. Вероятно, они заодно. Боже, как прекрасно - быть заодно! Быть совсем другой семьей. Ведь будь она другой, она должна бы что-то сделать с Милкой. Но она даже не в силах заставить ее сменить платье, а уж сменить мысли... Какие там мысли? Набор откровений вроде того, что процесс очеловечивания может, оказывается, иметь обратный ход. Они пристали с этим вопросом к их биологичке - и ужас! - доказали это ей!! Та растерялась перед натиском, а они ей - цитаты, формулы, диаграммы. Одна у них долго висела дома в столовой: обезьяна - древний человек - хомо сапиенс - хомо не сапиенс - просто дурак - обезьяна. Наше время, по мнению Милки, шло быстрым шагом от не сапиенса к просто дуракам.

– Павлик! - позвала Лариса мальчика. Тот вышел на балкон, вежливый и смущенный. - Павлик! Ты ей не верь. Она неплохая девчонка. Просто болтает языком про то, что от других слышала... Сама по себе...

Но тут застучали в квартире Милкины каблучки, и Лариса приложила палец к губам.

– Иди! - сказала она Павлику. - Иди! Я тебе ничего не говорила.

– Ты с кем разговаривала? - спросила вышедшая на балкон Милка.

– С воробьями, - засмеялась Лариса.

– Пойди умойся, - сказал Павлик Машке, когда она ласково и нежно уселась рядом, любя его после всего услышанного прекраснейшей любовью. - В чем это ты?

– Это пыль, - честно ответила Машка и ладошкой провела по лицу. В этот момент взвизгнул отодвигаемый ларь и в проеме балконной двери возникло видение с длинными стройными ногами, завернутое в самой своей середине яркой блестящей тканью. Видение кончалось маленькой головой с затянутыми в пучок на макушке волосами. Глаза у видения - зеленые, грешные, наглые, хотя накрашенные реснички, хлопая невпопад, должны изображать существо простодушное, отзывчивое, доброе. От этого несоответствия глаз и ресниц Машка чуть не расхохоталась.

– Фи! - сказала она громко, чем испортила это Милкино явление.

Конечно, главный показатель результата - только Павлик, а у него-то как раз вид достаточно ошалелый, на такой ошалелости его уже можно вести до шпал и бросить там под колеса по законам жанра. Но эта маленькая змея будто и не ела

икру из банки, и не смотрела недавно на Милку с обожанием. Эта маленькая змея поглядела Милке прямо в глаза и отчеканила:

– Как щенок в эполетах!

– Ты что? - обалдела Милка. - Подслушивала?

– Я? - возмутилась Машка. - Я? Я посуду мыла!

– Она правда посуду мыла, - подтвердил Павлик, а Машка сделала оскорбленное лицо.

И все вернулись в доошалелое состояние, словно и не было никакого видения - явления в мини-тряпочке. Павлик смотрел на Милку уже спокойно (почти спокойно), а вот обиженную, оклеветанную сестру обнимал одной рукой, оскорбленная же лапочка надула губы, ибо - как и где она могла подслушивать? Как? Объясните ей, люди!

Милка же на самом деле была удивлена и обескуражена.

– Прости меня, Маша! - сказала она. Сейчас ей нужен мир, мир любой ценой, даже такой. - Прости! Так что делаем? - спросила она другим, уже светским голосом. - Идем гулять?

– Это было бы здорово! - обрадовался Павлик.

– Мы дали маме слово! - нечеловечески мягко сказала Машка. - Мы гуляем завтра, а сегодня сидим на месте.

– Глупо приехать в Москву и сидеть, - в тон ей миролюбиво возразила Милка. - Ваша мама не знала, что есть я... А я все знаю. И могу показать!

– Мама не велела! - Машка стояла насмерть.

– Ну, Маш, - попросил Павлик. И это походило на полное перераспределение ролей. Всегда все было наоборот. Машка тянула в безумства, а Павлик являл собой положительное начало.

– Я никуда не пойду! - сказала Машка. - А ты иди! - Она заметила, как сверкнули глаза Милки - идеальный вариант, - но Милка не знала главного: ни при каких условиях Павлик Машку не бросит. Таков закон их семейной жизни. Каждое возможное нарушение обговаривается заранее.

– Ладно, - сказал Павлик. - Нет так нет! Надеялся же он вот на что: посидит - посидит Машка и передумает, это мытье посуды подвигнуло ее на покорность и послушание, а впереди - день. Решив так, Павлик глазами сделал знак Милке: мол, подожди, потерпи. Та приняла знак и обрадовалась так быстро наступившей короткости отношений. Машка подмигивания не видела, но видела Милкину рожицу, на которой промелькнуло торжество, и поняла: был какой-то сигнал, и смысл его в том, чтобы обвести ее вокруг пальца.

«Нет уж! - подумала Машка. - Нет уж!» Конечно, соблазнительно сказать Павлику, что он ничтожество в глазах Милки. Но тогда станет очевидным путь Машкиного познания и на многие годы вперед она обречена на стерильные истины, полученные в равномерных дозах в школе и дома. Завоеешь же! Пусть сам Павлик разберется в этой кукле, которую она приняла за человека. Она будет его только страховать. Машка с откровенным отвращением посмотрела на Милку, как она, сомкнув ноги, изящно отставила их влево, а голову чуть-чуть наклонила, чтоб был виден красивый пучок волос, схваченный заколкой в форме ящерицы. Ящерица глядела на Машку крохотными брильянтовыми глазками, была она из породистых и дорогих, и очень удивилась бы, если б узнала, что обесценена сейчас предельно. «Какая, - считают тут, - симпатичная стекляшка!» «Дети, - могла подумать ящерица,

- дети... Что с них взять?»

– Идемте ко мне потанцуем, - предложила Милка.

– Нет! - сказала Машка. - У меня болит голова!

– Дать таблетку? - спросил Павлик.

– Нет! - ответила Машка. - Я потерплю.

– Зачем терпеть, если можно выпить таблетку? - изумилась Милка. - Хочешь, я принесу? У нас есть очень хорошая сладкая таблетка из Швеции. Именно от головной боли.

– Принеси! - сказала Машка.

Милка метнулась на балкон. Машка внимательно посмотрела на Павлика:

– Какая противная, правда?

– Она просто маменькина дочка, так мне кажется...

– Да нет же! - возмутилась Машка. - Маменькина - это что! Она, по-моему, просто гадина...

– Как тебе не стыдно? - сказал Павлик.

– Присмотрись! - тихо посоветовала Машка, потому что в комнату вошла Милка, неся на ладони круглую крупную голубую горошину.

Машка осторожно взяла ее в руки, очень ярко представляя себе, как умрет, сглотив отраву, и как сразу откроет Павлику глаза на Милку, но умирать не хотелось даже ради такого заманчивого результата.

– Ее можно без воды! - сказала Милка.

Она никак не могла понять, что произошло... Она ушла от них со словами «никто никому не нужен», Машка провожала ее восхищенным взглядом. Потом она посидела в ванной, переделалась, вернулась, и уже Машка смотрит на нее ненавидяще. А Павлик, которому полагается через несколько часов погибнуть от любви или в крайнем случае быть в состоянии наивысшего потрясения от нее же, так вот Павлик совершенно спокоен, почти равнодушен. Он немного ошалел сперва, но эта маленькая крыса заявила, что она, Милка, - щенок с эполетами. Она сказала те самые слова, которые сказала ей мама?! Это она назвала «разговаривать с воробьями»?

– Я сейчас! - Милка выбежала из комнаты.

Лариса закрыла уже один чемодан и собирала другой. Она собирала и думала, что именно это дело доведено у нее до автоматизма. Она безошибочно знает, как экономней, правильной сложить вместе мужские рубашки, бутылку водки, сувенирный самовар, гостиничные тапки, электробритву, каравай ржаного хлеба в полиэтиленовом пакете и килограмм кофе в зернах. Более чем за пятнадцать лет она делала это столько раз, что может точно сказать, в какой угол чемодана лучше всего положить банку шпрот, а в какой носовые платки. Когда-то заниматься этим было сладко, но как быстро это прошло, как быстро!.. Вообще жизнь идет быстро. Ей тридцать шесть... Кто-то из великих сказал: возраст акме. Расцвета. Почему-то это не обрадовало - огорчило. Никакого расцвета Лариса в своей жизни не заметила. Ее тридцать шесть ничем не отличаются от ее же двадцати шести. У нее есть школьная подруга, которая всю свою жизнь выбивается в люди. Лариса всегда удивляется, сколько в ней напора и оптимизма, и все в гору, в гору... Сначала коммуналка, потом пятиэтажка в Черемушках, потом возвращение в центр в нормальную квартиру. Сначала - диван-кровать как преобразование старой жизни, а теперь спальня из карельской березы. У нее, у подруги, сейчас акме. Защитили с мужем

диссертации, купили машину, поставили чешскую сантехнику. Раньше подруга ей, Ларисе, завидовала - никаких материальных, квартирных проблем, все сразу. А теперь жалеет. «Ты ничего не добивалась, потому ничего и не ценишь...» Это неправда насчет ценишь. Ларису воспитывали так, чтоб она знала, что почем... Бери вещь, но помни: она стоит месячной зарплаты учительницы младших классов. И так до сих пор, хотя она тысячу лет в другой семье, где никогда никаких разговоров о деньгах не ведется. И Коля может просто выбросить в мусоропровод вещь, которая стоит зарплаты учительницы. И Милка такая же... И никакого акме, а сплошные обесцененные будни; она, как скрепки, нанизывает их в одну бесконечную длинную цепь... Чего бы ей хотелось? Да ничего особенного! Просто другой жизни... Другой...

Лариса не увидела - почувствовала, что вошла дочь. Она подняла голову от чемодана, даже радуясь, что Милка своим появлением вытаскивает ее из какой-то липучей тоски, в которую она нет-нет да погрузится...

– Ты зачем им сказала? Зачем? - шепотом спросила Милка.

– Что и кому? - Лариса улыбалась, потому что Милка в этом платье - совершеннейшее потрясение. Трудно вообразить большее несоответствие вещи и человека.

– Ты зачем им сказала? - повторила Милка. - Чтобы сделать мне гадость? Я давно знаю... Тебе это нравится... Но я тоже могу... Тоже! И я тебе скажу: правильно тебя не любит папа. Правильно! Ты нас всех ненавидишь... Ты только и ждешь, чтобы сделать нам плохое. А мы терпим, терпим...

Щеки у Милки бледные, руки она сжала в кулаки, голос становился все громче и громче, и скорее все это, чем смысл слов, дошло до сознания Ларисы. «Она меня отчитывает, как девчонку. За что? - подумала она. - Правильно не любит папа? А можно не любить неправильно? Конечно, можно... Это я его так не люблю... Неправильно...»

– Я ничего не понимаю! - сказала она дочери.

– Это трудно понять! - уже кричала Милка. - Трудно! Зато нетрудно быть предателем! Ничего не стоит!

Она просто шла на мать, маленькая, обезумевшая девчонка, и ничего не понимающая Лариса взяла ее за руки. Милка рванулась так, что свалила чемодан и из него посыпались вещи: трусики, лифчики, бутылка водки ударились об пол, но не разбились, а вспенились.

– Перестань! Объясни! - просила Лариса.

– Я жить с тобой не хочу! Жить! - вопила Милка.

И тогда Лариса ударила ее по щеке. Ударила неумело, потому что не имела по этой части никакого опыта, удар получился какой-то смазанный и от своей непрофессиональности почему-то еще более обидный.

– Ненавижу! - заверещала Милка. - Ненавижу!

Павлик и Машка слышали шум в соседней квартире, а когда со стуком упал чемодан, они вскочили, готовые бежать туда на помощь или что там еще, но остановились: хоть и ходили уже несколько часов мимо отодвинутого ларя друг к другу, все-таки это еще не те отношения, чтобы так вот, за здорово живешь... Но как только они услышали «ненавижу», Павлик первым шагнул на балкон.

Они увидели все - рассыпанные вещи, покачивающуюся туда-сюда бутылку водки, какую-то синюю от гнева Милку и Ларису, которая, странно, растерянно

улыбаясь, потряхивала правой кистью.

– Вот! Явились! - сказала Милка. - Ну кто я? Кто? Щенок в эполетах? Да? Щенок?

Машка поняла все сразу. Ей была предоставлена секунда, чтобы решить вопрос: как поступить? Ах, не будь здесь Павлика! Как это было бы просто! Она объяснила бы, и все. Но признаться при нем о кладовке, скважине, пыли...

...Мама будет говорить:

– Доченька! Как же ты могла?

...Папа скажет:

– Мне трудно уважать тебя после этого. Павлик.

Павлик! Он перестанет с ней разговаривать.

Он отделится от нее стеной, и это будет самое ужасное для всех них. И ей придется пробивать эту стену, потому что она без него не может и потому что знает: она виновата и заслуживает этой стены. Машка посмотрела на брата, а тот смотрел на Милку, и в глазах его было неприятие, а Милка смотрела на него, и в глазах у нее была мольба. И Машка подошла, отодвинула толстую суконную штору и показала на дверь.

– Вот здесь я все слышала! - сказала она. - Все!

– Там же кладовка! - не поняла Лариса.

– В нее можно войти! - ответила Машка.

Это неверно, будто правда все распутывает и делает ясным. Правда способна и на другое, она может все запутать, усложнить, а потому, что она - правда, выбираться из всего ею сотворенного бывает подчас гораздо сложнее, чем выбираться из лжи. Об этом подумала сейчас Лариса. Ведь, в сущности, ничего не значило полученное от Машки объяснение, а выходит, ее оправдание. Не могли слова этой девочки с горящими честными глазами изменить то, что уже превратилось в каменные руины. Не могли исчезнуть слова Милки. Они навсегда останутся в этой комнате. Они приняли вид вещей и будут теперь тут всегда. Вот диван с прожженной спичкой спинкой - это «правильно тебя не любит папа», а кресло-качалка - это «ненавижу», штора на двери в ту, чужую квартиру - это, собственно, и есть «я жить с тобой не хочу». Ну и что, если малышка подслушивала в кладовке? Ну и что? Разве из-за нее родилось все это здесь! Просто девочка посмотрела в замочную скважину, и все тайное стало явным. «Ненавижу!» - сказала Милка, которую она родила. Как же теперь жить дальше? Лариса начала подбирать вещи - странно, бутылка уже давно из холодильника, а оставалась холодной. Она приложила ее ко лбу, не думая о том, что это нелепо, приложила инстинктивно, прижимаясь ко всем завоеванным водкой медалям, и тут услышала тонкий, звенящий голос мальчика:

– Сейчас же извинись перед мамой! - Это Павлик крикнул Милке.

– Извините меня, - сказала Машка.

– Уходите отсюда! - сжимала кулаки Милка. - Сейчас же уходите вон!

– Я никуда не уйду, пока ты не извинишься, - тихо повторил Павлик. - Хотя я просто не понимаю, как ты посмеешь жить после этого...

– Посмеет, - печально усмехнулась Лариса. - Она у меня здоровенькая и храбренькая. Вы идите, дети, мы как-нибудь сами... У нас вечером поезд.

– Я не уйду! - У Павлика дрожал голос, и Машка знала, что это высшая степень его гнева. - В конце концов мы во всем виноваты...



– Не мы, а я! - закричала Машка. - Я подслушивала, я!

– Тогда уйду я! - Милка рванулась с места, раз-раз, и только хлопнула входная дверь.

Нервы у Машки не выдержали, и она горько заплакала.

Милка бежала по улице Горького, и все на нее оглядывались.

...Люди, которые помнили время борьбы с галстуками и помадой, которые строили Турксиб и ДнепрогЭС, пытались ответить на беспокоящий их вопрос: вот эта бегущая девочка - она что, нормальный, естественный итог всей их жизни и борьбы или отклонение, ставшее результатом недостаточной борьбы с галстуками? Они - эти честные старые люди - считали себя ответственными за все, что было при них, а потому смотрели на Милку с тревогой и недоумением. Их же собственные дети, которые носили перешитые в пальто и платья солдатские шинели и ничего другого в Милкином возрасте не имели, оглядывались и вздыхали, потому что всегда хотели, чтоб хоть их дети одевались хорошо и нарядно. Теперь так и было. Вокруг них бродили очень хорошо одетые дети. И эта девчонка с картинки бежала и пихалась, но не было у выросших детей войны уверенности, что в жизни полный порядок. Ну одели детей с иголочки, а дальше-то? Дети же с иголочки и те, кто к этому только стремился, прикидывали, вычисляли, где бегущее платье куплено - в какой стране или какой комиссионке и какова его цена. И многие из этих детей взращивали и даже возрастили в себе гнев и обиду за то, что нет у них такого платья. Но никто Милку не остановил, а может, и правильно сделал: мало ли как она могла бы ответить преградившему ей дорогу человеку!

Она бежала, не зная куда...

...Если бы бабушка была в Москве, Милка прибежала к ней и дедушке. С ними просто. Они бы сделали так, будто никакого Павлика никогда не существовало. И никакой Машки, никакой этой истории. И все стало бы хорошо и ясно, и можно было бы начинать сначала, с очищенного бабушкой места.

Милка их обожает за это! Раз-раз - и нет ничего плохого, как по волшебству...

Идти к папе? У него другое удивительное свойство. Он способен обесценить любое страдание. Все ее слезы, печали в его глазах копейки не стоят, равно как и все печали и слезы на всей планете. Папа поворачивает факты той стороной, которая утешает. Смотришь - и уже не из-за чего плакать, не из-за чего болеть сердцу. «Если желудок работает хорошо...» - этим папа заканчивает любое свое утешение. Сейчас можно прийти к нему, он посадит ее в кресло, сядет напротив, улыбнется и спросит:

– А что, собственно, случилось! Недоразумение? Надо быть, дочь моя, абсолютно неполноценным, надо быть кретином, чтобы мучиться по поводу недоразумений... Да ими кишмя кишит жизнь... Кто-то кого-то недопонял, кто-то кого-то недослышал, кто-то что-то недоговорил... Все это не повод... Через недоразумения надо перешагивать, их даже не надо разъяснять - перешагивать или отбрасывать... Ну? Перешагнем вместе?

Милка бежала в другую сторону. Ей сейчас не годилось перешагивание. И вообще ничего не годилось. Можно только бежать, бежать наперегонки со всем этим, как сказал бы папа, недоразумением, бежать и чувствовать, что оно сильнее, оно перегоняет, и трусливо сворачивать с дороги - не для нее. Будь здесь бабушка, она залегла бы на крыше Телеграфа и метко, снайперски расстреляла бы недоразумение, побеждающее Милку, но бабушка, наверное, бегала сейчас по Болгарии, искала ей нечто эдакое, ни на что не похожее.

Был на свете один человек, который мог теперь понять Милку. Это Тимоша. Он и только он знает какие-то другие, неожиданные слова, и он должен объяснить Милке ее самое - ее стыд, ее горе, а главное - почему ей так важно быть прощенной этим мальчиком. Сейчас она согласна, пусть не бежит он за ней по шпалам, но только пусть никогда, никогда, никогда не говорит этих ужасных слов: «Как ты посмеешь жить после этого?» Что он хотел сказать - лучше ей не жить? Не жить ей, за которую столько родных и близких отдадут свою жизнь не задумываясь, потому что она, Милка, бесценна?.. Конечно, каждый человек бесценен и нужен, но не каждый об этом знает. Милка знает. Бабушка объяснила ей про уникальное чудо сочетания кислот, клеток, нейтронов и атомов, какие копили и собирали две фамилии, чтобы сомкнуться и завершиться в ней.

– Мать! Не переживай! А то Милка решит, что именно она - венец природы, - говорил папа.

– Каждый может быть венцом. Потенциально. Но не каждому дано это знать... А вот если ты это знаешь, то не можешь жить иначе... По другим правилам...

Милке объяснили, кто навсегда отказался быть венцом природы. Алкоголики. Воры. Преступники. Бездельники. От такого разъяснения получалось, что венцов природы все-таки осталось в человечестве еще много, но почему-то это Милку не устраивало, и она уже сама обуживала и обуживала этот круг, сама совершенствовала систему «венцов природы», чье существование бесценно.

И вот ей, именно ей задают вопрос: как она смеет жить?

Милка просто задыхалась от гнева, непонимания и страстного желания, чтоб взяли назад этот вопрос, как самый-самый неправильный вопрос на земле. Она влетела в «демократический беспропускной офис», где работал Тимоша, распахнула дверь в комнату, где сидело пятеро унылых людей, и услышала, что Тимоши нет, уехал в министерство. Когда-то Тимоша ей объяснил: формула «уехал в министерство» принята у них, если человек отправляется по своим личным делам. Министерство - это такой громадный дом, где вполне можно быть, а тебя там никто не увидит. Уехал будто бы в министерство, а сам преспокойно сидишь в кино.

– Когда я вырасту, - сказала Милка, - я буду работать в твоём офисе.

– Есть еще более интересные места на свете, - рассказывал ей Тимоша. - На работу вообще можно не приходить...

– Не слушай его! - кричала мама. - Порядочные люди...

– Ш-ш-ш, - говорил Тимоша. - Ш-ш-ш... Ребенок сам разберется, что есть что. Она видела моих коллег по комнате. Нравятся?

– Нет! - смеялась Милка.

– Вот и соображай!

Тимоша ее воспитывал так, от противного. Теперь же он где-то сидел в кино, или таскался по магазинам, или пошел на какую-нибудь выставку, а он ей нужен, нужен, нужен, но его не найти, потому что найти человека в Москве невозможно. Куда там той самой иголке-дуре, что спряталась в стоге сена. Ведь стоит только взять магнит...

Бег у Милки кончился, она топталась на месте у офиса, и такая неожиданно стреноженная девочка вдруг поняла, что если нет никого в качестве костыля-помощника, то идти, ползти надо самой. Если же нет никого в качестве советчика, то и думать надо самой. А значит, ей полагается вернуться домой... Ибо нельзя решить задачу, если условия ее разбежались в разные стороны...

Надо собрать их вместе, чтобы понять, что с ней случилось.

...Почему уже не имеет значения, побежит этот мальчик за ней по шпалам или не побежит? Дело в том, что, как неожиданно выяснилось, ей никуда не хочется уезжать... Не хочется, не надо... Ей важно остаться... Очень важно... Чтоб проводить его сегодня и встретить через месяц. И чтобы это проводить-встретить было всегда. До конца жизни... Она знала: это случится в этом году. Случилось... Он единственный человек на всем земном шаре, который ей нужен. Пусть простит ее Тимоша... Вот не оказалось его на месте, и не надо...

### 3

Тезис же о том, что искать человека в Москве бесполезно, безусловно, верен. И, как всякое правило, исключения его только подтверждают. Тимоша ехал в своем стареньком «Запорожце» в министерство, и это был честный путь именно туда, а не в баню или парикмахерскую. Он ехал по кольцу медленно, не нервничая у светофоров, ибо ничто его никуда не гнало. У Курского вокзала он сделал правый поворот, отметив про себя, что цветов в этом году меньше, чем обычно. К тому же все они почему-то, очень уж кроваво-малиновые (куда делись нежные, тускловатые цвета, куда?). Он не любит интенсивность ни в чем, не любит концентрацию... Все истинно прекрасное приглушено, разбавлено... Прекрасен англичанин Констебл... Прекрасны старые, потускневшие иконы... Хорош разбавленный вермут... Великолепна средняя Россия... Потому что она - средняя, пополамная. Сочась такой философией, Тимоша припарковался осторожно и мягко между двумя невообразимыми для нормального глаза цветами - ярко-оранжевым «Москвичом» и чернейшей дьявольски сверкающей «Волгой». «Кошмар! - подумал Тимоша. - Кошмар!» Он любовно похлопал по серенькому задку своей маленькой машинки и направился к вокзалу. Он хотел найти тот поезд, который, уходя из Москвы как можно позже, не прибывает в Сочи слишком уж рано. Пора заказывать себе билет. Тимоша шел по вокзалу, жалея всю эту распаренную толпу, не имеющую лица. Интересно, сколько здесь одновременно находится людей? Наверное, где-нибудь стоит ЭВМ, должна стоять, во всяком случае, чтобы подсчитать и точно знать, сколько нужно выбросить в вокзальное горло пирожков и мороженого, сколько воды дать в автоматы. Можно при помощи машины вычислить и среднего пассажира. Кто он - командированный? Отпускник? Миграционный тип? Или просто бездумный кочевник XX века? Кто, например, эта женщина в желтом платье, мечущаяся сразу между двумя кассами, - и там и там заняла очередь. Оборотистая, видать, тетка, раз усвоила законы больших чисел очереди. Что-то его задерживало здесь... Эта женщина дважды, чуть не задев его, прошла мимо туда-сюда, туда-сюда... Сначала она ему показалась представителем той самой средней части пассажирской массы, мыслями о которой он сейчас забавлялся. Но уже через секунду Тимоша понял, что остановил свой взгляд на ней совсем по другой причине и к поискам среднего пассажира эта причина отношения не имела. А так как женщина не была красавицей, не была одета прекрасно и модно, то отпадал еще один существенный стимул, из-за чего он мог бы затормозить возле этих касс...

«Я ее знаю? - спросил себя Тимоша. И ответил: - Не знаю». И все-таки, все-таки, все-таки... Надо посмотреть на нее внимательнее, и решительный Тимоша зашел так, чтобы видеть женщину в лицо. И узнал Катю. Узнал по этой

потерянности, свидетелем которой был дважды: в Москве и Северске. У нее в экстремальных случаях глаза открываются широко-широко, будто она боится ослепнуть, сомкнув их, но, распахнутые до неестественной широты, они делаются столь же неестественно тусклыми, они не отражают света. Странные глаза. Больше он таких не встречал. Ни у кого и никогда.

– Ничего удивительного, - сказал Тимоша то ли себе, то ли людям, - это вокзал.

Когда Катя - в какой уж раз! - метнулась из одной очереди в другую, он остановил ее за руку.

– Здравствуйте, мадам! - Таким обращением Тимоша хотел определить характер будущего разговора - ироничный, необязательный, случайный. - Не поможет ли вам очень старый знакомый?

– Мне надо срочно, на самый ближайший поезд закомпостировать три билета! - ответила Катя и протянула Тимоше билеты так, как будто расстались они вчера и теперь встретились.

Почему он их взял? То ли голос Кати и эти неотсвечивающие глаза умоляли о помощи, то ли где-то глубоко-глубоко в душе поднялось и легонько застонало чувство сто раз заговариваемой и, казалось, заговоренной вины перед этой женщиной? Он взял билеты.

– Пожалуйста! - попросила Катя.

И Тимоша, округлив грудь и приняв вид человека, которому надо задать всего один маленький вопрос по давно решенному делу, ринулся к кассе.

– Минуточку! - говорил он людям. - Минуточку! Через пять минут он вынес из очереди три прокомпостированных билета.

– Поезд через три часа! - сказал он.

– Господи! Слава богу! - Она даже улыбнулась. И Тимоша вспомнил, какая у нее улыбка. Вообще она хорошо сохранилась на своем Севере, решил Тимоша, только у нее нейродермит. Плохо, что он на лице... У него лучше - на спине.

– Ну рассказывай! - потребовал он. - С кем на юга едешь? И почему такая нервность?

– Сейчас объясню, - ответила Катя. - Но давай на секунду сядем. Я просто должна сесть на секунду. - И она села на краешек лавки, и закрыла глаза, и замерла, но тут же открыла их снова, уже нормальные глаза, серые и отдающие свет. - Я дам тебе ключ, а ты его отнесешь по адресу. Хорошо? Скажешь, что мы уехали. Срочно...

– Объясни, - попросил Тимоша. - Объясни суть. Что такое ключ? Что такое адрес?

Через десять минут он знал все. Про Загорск. Ветрянку. Про квартиру по «известному адресу». Про двоих Катиных детей, оставленных сейчас там!

– Сколько им лет? - спросил Тимоша. - Детям?

– Павлик перешел в десятый класс, а Маша в шестой...

– Десятый? - переспросил Тимоша. - Это же сколько ему?

– В феврале будет семнадцать.

Родись Павлик доношенным ребенком, Тимоша определенно подумал бы сейчас гадость о Кате. Что-то такое «о легкости и бездуховности женского естества» уже начинало формироваться в Тимошиных извилинах. Какая-то даже цитата упорно пробивалась вспомниться... Та самая, где некий господин - то ли Гамлет, то ли Лир - говорит про туфли, что не успели износить... Но Катя назвала месяц

февраль, и цитата ушла, не вспомнившись. Если этот мальчик февральский - значит, он Колин? Не может быть ничьим другим... А он, Тимоша, сажал ее в самолет, он отправлял ее подальше, потом вернулся и об исполнении доложил. Они тогда выпили втроем - он и Колины родители. Колю пить не звали. Он был подвергнут семейному остракизму и лежал у себя в комнате. Тимоша вошел к нему и спросил:

– Ну ты чего?

– Стыдно! - сказал Коля.

– Не дым, глаза не выест! - засмеялся Тимоша. И Коля засмеялся тоже.

И все. И точка. Пришла, правда, эта телеграмма... Но Коле и тут повезло. Ее получила его мама. И снарядила в дорогу Тимошу. Тогда, сразу, Коля так и не узнал, что ни в какую командировку Тимоша не летал, а брал отпуск за свой счет, вернее, за счет Колиных родителей, чтоб приехать в Северск и посидеть с Катей пять минут на заснеженной лавочке. Что же это за отношения у него с ней? Каждый раз они связаны билетами, поездками и мерзопакостным осадком на душе... А тут еще оказывается - на Севере живет мальчик Павлик...

– Хорошо, что их никого дома нет, - сказала Катя. - Мы сейчас уедем, и как не были...

– Они уже дома, - ответил Тимоша. - Они тоже сегодня уезжают в Болгарию, так что, наверное, собираются...

– Ой! - вскрикнула Катя. - Ой! Где тут такси?

– Я на машине!

Тимоша вез Катю и думал: ему сейчас, может быть, предстоит провести операцию, которая посложней той, семнадцатилетней давности. Главная же сложность заключается в том, что, совершая будто бы хороший, добрый поступок - везет женщину в своей машине, он тем не менее ощущает себя вымазанным в дерьме. Что это за добро такого сорта?

Тимоше было гадко.

Из автомата он позвонил на работу и сказал, что задерживается в министерстве и, скорей всего, останется здесь и после обеденного перерыва... Кто-нибудь его искал? Ответили: звонила какая-то женщина. Не представилась. И приходила девочка: «Дочка твоего приятеля, сама на себя не похожая. Та-акое платье!»

– Ясно! - сказал Тимоша, повесив трубку. - Они дома. Ну что ж, поехали!.. Мы с тобой знакомы по юности, а встретились случайно. Это такая у нас будет легенда.

Милка вошла в квартиру и увидела Ларису, сидящую в кресле с повисшими руками. На ногтях у матери просыхал лак.

– Не злись! - быстро сказала Милка. - И если хочешь - извини.

«Понятно, - подумала Лариса. - До этого «если хочешь...» она сама додумалась. А окажись Тимоша на месте, он бы ее научил иначе».

Лариса знала, что дочь побежит именно к нему. Даже предполагала, каким словам он ее научит. Они всегда у него странные и не имеют прямого отношения к делу. В этой истории он мог бы сказать так:

– Давайте заложим дверь, а? Мало ли что? Ну начнем мы завтра печатать сотняги... Или твой папенька зарежет маменьку. Ну зачем нам свидетели? Завтра же я привожу кирпич.

Или:

– Ну что ты, коза, на мать напала? Будто она знает, как с молодежью обращаться? Какой у нее в этом деле опыт? А тут сразу дети разных широт... Ты знаешь, люди на Севере думают медленней... Хочешь эксперимент?

Он всегда сочинит какую-нибудь чушь, нагромоздит целую гору слов, и уже не поймешь, где дело, где не дело, с чего сыр-бор и кто прав, а кого сечь надо. Прекрасное, всей их семьей ценимое свойство. По словам того же Тимоши, они, как по жердочке, переходят из критических ситуаций в благополучные с его помощью, переходят, не оглядываясь, что осталось за спиной, - оглядываться он не велит. Вот сейчас пришла Милка и говорит несусветное: «Если хочешь - извини». Это, конечно, не Тимоша, но все-таки его школа. Хочешь - не хочешь...

– Ты собирайся! - сказала Лариса. - Остановка только за твоими вещами.

– Сейчас! - ответила Милка. - Сейчас!

И она шагнула на балкон.

Лариса смотрела ей вслед и думала: какой бы ни была эта девчонка, которая занесла длинную ногу над дверным порошком, - это единственное, оставшееся у нее в жизни. Больше ничего. И оттого, что Милка ведет себя отвратительно и вызывающе и что она эгоистка и себялюбка, ей, Ларисе, не просто хуже, - хуже само собой, но не в этом дело. Ей, Ларисе, всю жизнь нести тяжесть вины, что дочь такая, а не другая. И вина эта не от недогляда или попустительства... Они тоже были, были, но они не главное... А главное... Главное?..

...Они вернулись из Африки, Милке два года. И она впервые увидела снег. Их тогда снимало телевидение. Они гуляли на Тверском бульваре, и к ним подскочил телевизионщик: «Вы обалденно фотогеничная пара... Мы вас сейчас снимем, только вытрите ребенку нос!.. Чего он у вас такой сопливый?» - «Это она, а не он, - сказал Коля. - Она еще не видела русской зимы». - «Блеск! - завопил телевизионщик. - Блеск! Это сюжет!» То ли от обилия света, то ли от нахального, вспарывающего вторжения камеры, но начала в ней, Ларисе, разматываться, раскручиваться какая-то туго свернутая пружина. Нельзя остановить этот процесс разматывания, когда ты держишь в руках кончик, а клубок, моток (что там еще?) уже катится, удаляется и ты знаешь, чувствуешь, как все меньше и меньше на нем остается. В общем, в ту зиму ее клубок размотался до стержня. Ее стал раздражать улыбчивый, вежливый Коля. К ним часто заглядывали гости, они были модной парой. Лариса радовалась людям, родине и тому, что, как бы светски-зарубежно ни начиналась пирушка, она всегда переходила в русское застолье - с пламенными речами, с критикой того и сего, с борьбой за идею, выведением на чистую воду и прочее, прочее. Как она это все любила! Потому что все это было светло и страстно. А потом увидела: Коля в их дискуссиях «за жизнь» не участвует. Нет, он что-то там говорит, но ему это неинтересно. Неинтересно, почему не оправдали себя совнархозы. Неинтересны события во Вьетнаме и неурожай на Украине, неинтересна даже волнующая проблема «Берегите мужчин», поднятая «Литературной газетой», потому что он считает: «Бережение - понятие сугубо эгоистическое». «Нельзя, - рассуждал он, - в проблеме сохранения себя, своего здоровья полагаться на общество и тем более на государство. Надо всегда помнить, ты у себя один». Ему кричали: «Это звериная философия!» А он отвечал: «Нет! Разумная». Вообще он даже не спорил. Если уж очень на него давили, он не то что сдавался, он как бы истончался до степени пропускания сквозь себя любых идей и воззрений. Пропускал и концентрировался. И однажды, когда она мыла в раковине чашки и ставила их в сушку, пришла

простая, как и совершаемое ею действие, мысль: чужой человек. Она испугалась мысли и позвала на помощь любовь, ведь была же она, была, зачем бы она замуж за него пошла? И явилась любовь, странное такое понятие, обросшее обязательствами и правилами, как декларация на таможне. Лариса не была близка со своей матерью. Она считала ее не по возрасту старозаветной: всю жизнь строгие английские костюмы и черные лодочки независимо от того, где она, в Брюсселе, Мадриде или Мытищах. Но тут, почувствовав, как размотался у нее клубок, Лариса пришла к матери и исподволь, намеком поделилась: вот там, за границей, все складывалось хорошо, а на родине... Может, это так у всех?

– Нет! - резко возразила мать. - Нет! Ты его просто не любишь... При чем это самое - там и здесь? А не любишь - расходись... Жить без любви можно только в двух случаях. Во-первых, если не отдаешь себе в этом отчета... Живешь и живешь. Так делает большинство, потому что любовь - редкость. Как талант. Как сокровище. Как красота. Во-вторых... Если надо жить во имя больного или беспомощного... Потому что есть вещи выше любви... Например, порядочность...

– Не поняла, - жалобно сказала Лариса.

– Ничего не могу поделать, - ответила мать. - У тебя промежуточный случай. Ты осознала, что живешь без любви, и это показалось тебе ужасным, а ничего ужасного нет... Но у тебя нет тех обстоятельств, при которых ты обязана сохранять брак... Коля - здоровый, молодой человек. Этим его с ног не собьешь...

Они не разошлись.

– Глупости, - сказал Коля. - Есть годы риска... Первый, пятый, девятый, семнадцатый... Или какие-то еще. Перемогись. - Он это сказал просто, без волнения, испуга, огорчения. Будто иллюстрировал материн тезис, что любовь - талант и не каждому дан. Глупо пытаться выиграть в лотерее по трамвайному билету. Перемогись. В этом его спокойствии было и разумеющееся само собой: он тоже без таланта, тоже лишь с трамвайным билетом и тоже перемогся. Может, даже не один раз.

Они стали жить-поживать и добра наживать. А мать ей предсказала:

– Твое дело. Только когда-нибудь в чем-нибудь для тебя неожиданно, но обязательно появится на свет результат твоей бесхарактерности. Там, где человек закрывает глаза на окружающее, возникает неожиданность...

– Ты цитатчица, а не человек, - рассердилась Лариса. - Ты, может быть, единственная мать на земле, которая толкает дочь к разводу.

– Во-первых, не единственная, - ответила мать. - Во-вторых, если ты помнишь, я никогда не была в восторге от твоего брака. В-третьих, повторяю, твое дело. Я буду счастлива, если ошибаюсь.

Она не ошиблась, ее мать, из вымирающего племени идеалистов. Они встречаются с ней редко, где-нибудь в кафе. Пьют кофе, едят мороженое. Мать приходит на свидание в английском костюме, в черных лодочках, не дает официанту на чай, не платит швейцару, садится только в заднюю дверь троллейбуса, живет по правилам, которые давно уже не правила, потому, наверное, никак не может понять единственную внучку Милку. Ларисе всегда это неприятно, а тут, сидя с опущенными руками в кресле и провожая глазами дочь, что шагнула на балкон и ушла к этим странным детям из какого-то забытого богом Северска, Лариса вдруг отчетливо осознала: ее дочь и есть та самая неожиданность от компромисса, на который она решилась много лет тому. Ее Милка и есть дитя нелюбви и

добронаживания, ее единственный выигрыш по трамвайному билету, с каким она едет по жизни.

А Милка ступила в соседнюю квартиру и сказала:

– Привет!

...Прошло ровно пятьдесят семь минут с того момента, как они вернулись в комнату. Милка хлопнула дверью, а там осталась эта женщина с длинными блестящими волосами. Все пятьдесят семь минут Павлик помнил, что женщине сказали «ненавижу!». Странное движение совершило громко брошенное слово. Будто ударившись о женщину, оно тут же отлетело от нее, а вот его, Павлика, невзначай, рикошетом поразило насквозь. Во всяком случае, таких пятидесяти семи минут в его жизни еще не было. Не было состояния удивительной прозрачности всех изначальных понятий. При нем, взрослом юноше, произошла отвратительная история, и он не смог ни предотвратить ее, ни изменить ситуацию. Это наполняло его стыдом, и отчаянием. Ведь если на твоих глазах случается такое, а ты стоишь столбом, то что вообще ты можешь?

Женщина проводила их через балкон, и глаза ее сочувствовали ему - беспомощному. И это особенно гадко. На него почти не действовало тихое, молящее поскуливание Машки, в котором она признавалась, как открыла дверь в кладовку, как прошла между стеклянными пустыми банками, как выдувала пыль из замочной скважины. Вина сестры четкая, ясная, определенная. Но в ней нет глубины... Его же вина неизвестно, где начиналась, и неизвестно, когда кончится. Потому что он думал, твердо знал: ему никогда не забыть этот пронзительный крик и как качнулась женщина от него, будто от удара. А он стоял рядом...

Пятьдесят семь минут он ходил по комнате, Машка же испуганно следила за ним глазами. Он ходил и решал для себя вопрос: что он должен был сделать и что не сделал? И тут Милка перешагнула порог и сказала:

– Привет! Все! Инцидент исперчен. Так говорит мой папа... Я тебя прощаю, - бросила она Машке. - В твоём возрасте я тоже совала нос куда не надо... Что будем делать в оставшееся до поезда время? - Она смотрела на Павлика громадными глазами, и Павлик видел, как они громадны и отмыты до блеска, но не знал, что Милка пялится до неестественности, потому что не уверена в себе, а ей это неприятно, быть неуверенной, и несвойственно вообще.

– Ну знаешь... - сказал Павлик, краснея оттого, что не решил, как себя вести и как поступить.

– Мы с мамой помирились, - объяснила Милка. - А с тобой мы ведь и не ссорились? Так ведь?

– Что делает твоя мама?

– Сушит маникюр, - сказала Милка.

И тогда Павлик решительно пошел на балкон. Лариса стояла в дверях, будто ждала его. И у нее было лицо человека, готового отвечать на вопросы.

– Вы простили ее? - спросил Павлик.

– А я могла не простить? - ответила Лариса.

– Не знаю... - сказал он.

– Вот видишь, - засмеялась она. - А говоришь...

– А нас вы простили?

– Вас? - удивилась она. - Господи, мальчик, вас за что?

– Ясно, - заключил он. - Но я вам хочу сказать... Ни себя, ни Машку, ни ее я не



прошу никогда...

Почему ему важно это? Объяснить про рикошет, про удивительную пятидесятисемиминутную ясность понятий, про то, как, приняв на себя удар слова, он принял на себя и все последующее... Ее, Ларису, слово только задело, его - убило. Она может простить, а он не должен... Потому что ничего другого он не может, кроме как не простить.

– Ты думаешь, не прощать никогда - доблесть? - печально произнесла Лариса.

– Дobleсть - прощение? - спросил он.

– Не знаю, - ответила Лариса. - Я вообще не знаю, что такое доблесть в этой жизни... Не надо ее не прощать, - продолжала Лариса. - Удиви ее тем, в чем она ничего не понимает.

– Вы так хотите?.. - тихо сказал Павлик. - Вам будет лучше от этого?

– Знаешь, - медленно проговорила Лариса, - будет. Ты нам оставишь надежду...

– Не понимаю.

– Прости ее...

– Хорошо, - ответил Павлик. - Я сделаю это ради вас. Но и вы простите меня, если можете...

– Ты даже не знаешь, что говоришь... - прошептала Лариса.

Звонок раздался сразу в двух квартирах. И здесь, на балконе, два звука объединились и звенели неестественно громко, как в театре.

– Мама! - закричала Машка. - Ты почему не в Загорске?

– Собирайтесь! - велела Катя. - Мы уезжаем. У нас скоро поезд...

И тут она увидела чужую девочку, что отрешенно стояла посреди комнаты. Девочка наклонила голову, и блестящие глаза ящерицы уставились на Катю стеклянно и равнодушно.

– Собирайтесь! - повторила Катя.

– Сейчас! - сказал пришедший с балкона Павлик. И вид у него был такой, будто только что он испытал боль, но она уже отпустила, хотя еще осталось воспоминание о боли. Он вошел и сразу стал застегивать чемоданы.

– Разве у вас поезд сегодня? - спросила Милка. - Не завтра?

– Через два часа, - ответила Катя.

Милка смотрела на Павлика. Как, наклонившись к замку чемодана, он прижимает крышку коленом и при этом не обращает на нее никакого внимания. Каждый его защелк вызывал у нее странное чувство освобождения и потери. Ведь хорошо же, если они уедут, эти нелепые северские люди - женщина с кошмарными белыми пуговицами на желтом, ядовито-склочная малявка, из-за которой весь скандал, этот малахольный Павлик. Гибрид учителя с декабристами. Пусть себе катятся! Не нужен он ей, не нужен! Милке хотелось бы даже громко фыркнуть что-нибудь эдакое: «Привет отъезжающим половцам и печенегам!» Чтоб окончательно и бесповоротно определить несоответствие этих людей времени. Времени телевизора и миксера! Она даже сделала вдох для произнесения заключительного хамства, когда вдруг осознала, что говорит совсем другое:

– Не уезжайте! Я прошу вас...

Последние слова она уже пролепетала, и, видимо, лепет дошел до Павлика, он выпрямился:

– Знаешь, ты можешь стать очень плохим человеком. Я должен тебе это сказать!

– Это не наше дело! - крикнула Катя. И поправилась: - Не твое!

И снова с Милкой произошло несусветное. Что ей полагалось сделать? Сказать, будто в наше время нет понятия «хороший - плохой», будто эти категории «отсохли», как говорит папа. Другое важно - ценность.

Плохой человек может быть ценным работником. Хороший может цены не иметь. Чего ты стоишь - вот главное. В деле. В жизни. Что ты умеешь. Чего не умеешь. А хороший - плохой - это рудимент от другой эпохи. Эпохи духовной культуры. А мы - слава богу! - живем в эпоху материальной. И папа любит в таких случаях для усиления аргументации включить вентиляцию, нажать на кнопку магнитофона. «Смотри, дочь, что есть наша эпоха и наша культура. Она о-ся-за-е-ма: придумать и сделать ее могли только люди, не отягощенные эфемерным и неосвязаемым». Но вопреки всему этому, вопреки такой здоровой оптимистической логике Милка сказала вот что:

– Я хорошая. Я докажу тебе. Я поеду с тобой в Северск. Хочешь, навсегда? Как эти идиотки декабристки...

– Ой! - выдохнула Машка, у которой глаза просто лопались от напряжения, будто последние пять минут она смотрела на что-то горячее-горячее...

Ничего не сказала Катя, она только закрыла рот ладонью, словно боялась, что слова, неизвестно какие, выйдут из нее сами, без ее воли.

И тут забарабанили в стекло. Это Тимоша косточкой согнутого пальца стучал им в окошко с балкона.

– Тимоша! - закричала Милка. - Тимоша, заходи!

– Иди домой, коза! - ответил Тимоша. - Я хочу с тобой попрощаться. А у тебя еще чемодан не собран. Определенно мать положит тебе что-нибудь не то.

Тимоша при этом делал в сторону остальных извинительно-приветственные поклоны. Мол, здрасте, но и извините, что я так вот, пальчиком врываюсь...

– Тимоша! - воскликнула Милка. - Я тут сказала одну вещь... Видишь, они все потеряли лицо... Я вот что сказала. Я поеду с тобой в Северск. Понял? - спросила она Павлика.

А Павлик был потрясен. Он всего ожидал от этой девчонки. Она могла разбить чужую хрустальную вазу - ей это ничего не стоило, она могла сделать гадость его маме - выкрикнула же она своей «ненавижу». Она могла ударить Машку, подошла бы и ударила. Но сказать такое? Павлик почувствовал, как он покраснел.

– Но ты же не сегодня поедешь, - возразил Тимоша. - Для начала... надо съездить в Болгарию.

Павлик вдруг остро осознал: незнание, что сказать и что сделать, стало больше его самого. Ничего не годилось в помощь. Нелепая девчонка будто назло создавала нелепую ситуацию, и он в нее погружался, как в мазут, как в клей без надежды на спасение.

– Ты хочешь, чтобы я поехала с вами?

– Нет! - сказали они страстно и единодушно все втроем.

И Милка с удивлением посмотрела на Катю. Чего эта влезает? С пуговицами.

– Нет? - переспросила Милка.

– Нет! - ответил Павлик.

– Видишь, коза, - вмешался Тимоша. - Возникли трудности. Есть смысл все-таки вернуться домой...

– Видишь, Павлик, у нее совсем нет гордости, - важно подвела итог Машка.

Милка сделала то самое движение, которое давно ожидал Павлик, и он шагнул вперед, чтоб ничего не случилось, и они оказались так близко друг от друга, что Павлик увидел левый замутненный глазок у ящерицы. Правый сверкал, а левый был тускл, и это несоответствие делало мертвую заколку живой и очеловеченной. А еще он увидел глубокие смуглые впадины под Милкиными ключицами... Но самым удивительным было бьющееся Милкино сердце, которое Павлик тоже увидел. Просто дорогое импортное платье, не ставившее перед собой задачу что-то там скрыть, не сумело скрыть и этого. Павлик заметил, как слева быстро-быстро подымается и опускается красивая японская материя, и просто не могло быть сомнений, что у этой плохой девочки сердце объективно существовало и билось, как и у хороших.

– Ладно, - сказал Павлик. - Ладно. - Он забыл, что шел ей навстречу, чтоб ловить ее за руку!

А Милка взяла и положила ему голову на грудь, положила и заплакала.

– Да что же это такое?! - взмолилась Катя. - Да сделай же что-нибудь! - Это она уже Тимоше.

Машка вскинула брови на это «сделай». Почему их вежливая мама обращается так к человеку, которого видит первый раз, а человек не удивляется, идет через порог и берет Милку за плечо, и она уводится, человек же поворачивает к матери лицо и говорит:

– Спускайтесь быстро к машине, я сейчас! Возьми себя в руки, Катерина!

«Откуда он ее знает?» - морщила лоб Машка, а мама уже сунула ей в руки сумки, сетки и закричала Павлику:

– Чего застыл! Бери чемоданы, внизу машина!

– Какая машина? - спросил Павлик, ощущая на рубашке след Милкиной слезы и испытывая при этом какую-то глупую радость.

– На колесах! - не выдержала Катя, а он не мог понять, почему она так кричит и так на него смотрит, будто он сделал что-то гадкое, непростительное.

– Надо же сказать им «до свидания», - робко напомнил Павлик.

– Не надо! - Катя схватила самый тяжелый чемодан.

– Но почему? - сердился Павлик. - Почему?

– Поверь, что не надо! Поверь, не спрашивая... Ну поверь единственный раз... - У Кати тряслись руки, и пятно было ужасно, и смотрела она на Павлика так, как не смотрела никогда, - умоляюще и в то же время отстраненно. Будто они сейчас расстанутся навсегда и с этим уже ничего нельзя поделать. И потому, что он ни разу не видел мать такой, и потому, что сам он сейчас чувствовал себя растерянным и слабым, он сказал:

– Хорошо. Пошли.

Катя метнулась к балкону и с ожесточением повернула все три закрывающие двери ручки. С визгом проехала по карнизу штора, в комнате стало сумрачно, печально и тихо. Просто вообразить невозможно, что кто-то здесь недавно кричал и плакал.

Тимоша привел Милку в ее комнату.

– Сними ты это платье! - сказал он ей. - Ей-богу, оно тебе не идет!

Милка покорно, шмыгая носом, пошла в ванную и начала стаскивать узкое платьице... Она ощущала себя настолько опустошенной, что ей можно было давать любые указания. Но в то же время опустошение казалось сладким и

освобождающим. Будто сама по себе возгорелась рухлядь, которую только по лености не сожгли раньше, а теперь она исчезла, и все тому рады. Как хорошо! Сейчас она переоденется и пойдет к ним. Она их проводит, ведь смешно задерживать - у них путевки. Но они обязательно на обратной дороге заедут. Значит, главная задача вернуться к этому времени из Болгарии. Так она думала, освобождаясь от платья, как от засохшей и отмершей кожи, но оно не снималось, цеплялось, потому что «молнию» она расстегнуть забыла...

А Тимоша в это время вышел к Ларисе и сказал:

– Держи ее как можешь... Я их сейчас отвезу на вокзал.

– Что за спешка и при чем тут ты? - спросила Лариса.

– Я альтруист, - пошутил Тимоша. - Вижу - женщина с детьми, а у меня четыре колеса...

– Знаешь, - засмеялась Лариса, - они из Северска... Я помню, ты когда-то туда ездил в командировку... Может, это твоя знакомая?

– Признаю себя виновным. Знакомая.

– А! - сказала Лариса. - А говорил - альтруист...

– Держи дочь! - приказал Тимоша и пошел к выходу.

Лариса повернула ручки балконной двери и подумала: «А мальчик мог бы прийти и сказать «до свидания». Как они с ним говорили: прощение - доблесть? Странные категории извлекли на свет. Вообще странный мальчик. Не от мира сего. Что такое эти маленькие города? Никогда она в них не была... Коля, между прочим, был в Северске... Еще до нее. Ходил на байдарках. Как тесен мир... А самолеты совсем превратили пространство в фикцию. Хорошо это или плохо? Все, что сближает, хорошо... Собственно, почему надо держать Милку? Пусть бы она их проводила. Успеют они с ней собраться тысячу раз. Или Милка и там устроила скандал? С нее станется. У нее никаких сдерживающих рычагов. Что хочу, то и делаю.

Милка вышла из ванной с прилипшими ко лбу волосами. Какая-то покорная и притихшая.

– Я провожу их, мам, а потом соберусь... Ладно?

– Знаешь, по-моему, они уже уехали... Их Тимоша повез...

– Уехали? - спросила Милка. - Уехали?

– Только что... Я слышала, как хлопнула дверца... Я знаю звук Тимошиной дверцы.

Она нашла на вокзале Тимошу. Он стоял перед раскаленным плацкартным вагоном, смотрел в окно и видел какие-то сумки, авоськи, локти, ноги... В вагон было продано больше билетов, чем мест, стоял шум и гам. Как хорошо, что он посадил их, лишь только подали состав. Кто успел, тот и сел. Правда, этот странный мальчик сразу стал освобождать свою полку для какой-то женщины, но он, Тимоша, послал эту тетку очень далеко. К бригадиру поезда. И вообще загораживал их телом, потому что у Кати был безумный вид и ее вполне могли принять за больную. А ненормальный взрослый ребенок по имени Павлик все вылезал со своей железнодорожно-посадочной вежливостью. Интересно, это в нем глубоко или только внешне? На такое мелкое благородство - место уступить, руку протянуть - и Коля способен. Он это даже любит. Любит выглядеть. Правда, недавно признался ему, Тимоше: «Устаю от этого... От вежливости». - «Да потому, что она у тебя как

искусственная нога... Трет в сочленении...» Коля шутливо дал сдачи, и разошлись вничью. Тимоша сказал ему правду про искусственную ногу. Если этот мальчик - Колин сын, а судя по рыжине и некоторой лопухости, так и есть, то вполне можно себе представить, что когда-нибудь и у него от вежливости сведет скулы. И он отбросит ее к чертовой матери, как что-то мешающее. И ему, естественному, сразу станет легче? Коля с возрастом охамел весьма, а какой был аспириновый ребенок! Тимоша дважды хотел его убить. Первый раз мальчишкой. Дрались они тогда по-страшному, до сих пор у него осталось ощущение горлышка бутылки, зеленой, бугристой, которую он разбил об угол дома, предвкушая, как острыми рваными краями вспорот сейчас брюхо этому холеному, чистенькому мальчику. Все самое отвратительное воплощалось тогда для Тимоши в Коле, представителе какой-то другой, «стильной» жизни. Он презирал себя за то, что ему тоже хотелось вот так небрежно разменивать в табачном киоске большие бумажные деньги. В общем, Колю решили побить, а в драке - Коля оказался сильным - пришло к Тимоше это страшное желание убить. Потом были милиция, и Колины родители, и их непонятное всем желание выручить Тимошу. Выручили - приручили. И он почему-то полюбил Колю, как любили его все. А может, и больше, потому что никто, кроме него, не сжимал в руках зеленое горлышко? Все чувства, которые Тимоша испытывал к этой семье, имели какое-то бутылочное происхождение. Признательность, благодарность, уважение - все стало острым, обнаженным, будто, не преуспев в убийстве, силы Тимоши были брошены на другой эмоционально-производственный участок любви. А потом, однажды, он еще раз захотел Колю убить. Он вернулся тогда из «командировки» в Северск. И хоть родители Коли не велели ему рассказывать сыну ни о телеграмме, ни о поездке, он собирался это сделать. Тимоша в самолете промечтал предстоящий разговор с Колей. Он расскажет ему, как прилетел, как ждал ее на улице... «Какая она?» - спросит Коля. И Тимоша расскажет какая. «В платочке, а на лбу челочка по самые-самые брови. Глупая, брови прячет... Они ведь у нее красивые. Раньше это называлось соболиные...» «Э! Черт! - скажет Коля. - И влип же я тогда...» Таким мыслился разговор. Но сказал Коля другое. Совсем другое. «Знаешь, - сказал он. - Был я легкий человек. Незлобивый дурак, что ли... Позвали тебя, включили в игру... И стал я подонком». Никогда не забыть Тимоше это свое состояние. Сидят два взрослых мужика за столиком в кафе, промеж них газета середины шестидесятых годов, пьют хороший коньяк, курят дорогие сигареты. И один одному небрежно так: «А это ты меня подонком сделал...» Вся жизнь Тимоши вернулась к тому самому зеленому горлышку, с которого и началась его связь с этой семьей, его положение в ней то ли как приемного сына, то ли друга на все случаи жизни. «Я?» - глупо спросил тогда Тимоша. «Ты! - повторил Коля. - Процесс со мной произошел необратимый, так что глупо жалеть о том, чего не воротишь. И как она выглядит, эта прекрасная девушка из города Северска?» «Давай разберемся...» - сказал Тимоша. «Не надо, - ответил Коля. - И не смотри на меня так, как смотрел в той подворотне. О'кей, старик! Я не в претензии. Мы такие, какие мы есть!»

Никто никого не убил. Все было еще удивительней... Будто они роднее стали. И можно говорить о себе открыто друг другу: я - сволочь, и исповедоваться в гадком, и погрязать в это глубже и глубже... Правда, оставалась в их отношениях Милка. Существо. Коза. Садилась на колени Тимоше и задавала вопросы. И это самое сладкое, что еще существовало. Ибо в ответах на них он исходил не из того,

каким был сейчас, а из того, что он хороший, и добрый, и умный.

И с каждым годом чужая девочка занимала в его жизни все больше места. Потому что однажды он понял: после первого, очень короткого, но весьма скандального брака - с разделом простыней и сервизов - он вряд ли женится второй раз. А способа получить дочку без помощи женщины - увы! - нет, что несомненно говорит о глубоком несовершенстве природы. Ведь если он чего в жизни хотел по-настоящему, так это дочку. Чтоб носить ее на плечах, покупать ей куклы, дарить украшения, защищать ее от всех и вся...

Так и получилось, что лучшая часть его души стала принадлежать Милке. Он ей больше родитель, чем вся ее родня, вместе взятая.

Он хотел, чтобы она это знала.

Но странное дело: именно сейчас, на перроне, явилось понимание, что игра в Милку-дочь приходит к концу.

Ведь игра есть игра. Когда-нибудь кто-нибудь скажет: хватит. Вот она и ушла - девочка. Бросив фишки-фантики. Собирай их, Тимоша, собирай! Если, конечно, хочешь; не хочешь - брось. Никто не неволит, ведь никому брошенной игры не жалко. Ну рассыпали - проблема! То, что для тебя эта игра была чем-то большим, - твое личное, частное дело. - Никому не интересное.

«Ну что ж, - сказал сам себе Тимоша. - Как это поется в песне? Первый тайм мы уже отыграли. Дальше вступают трубы и некто горластый кричит, что у него много сил и для второго... Я ему завидую. У меня их нет. Мне их неоткуда взять... Дело в том, что очень хочется вмазать одному теоретику, который сказал, что любовь сама по себе награда. Маэстро, вы не правы! Маэстро, вы погорячились... Любовь подразумевает ответ. Она не существует без него. Вот такая штука... Это говорю вам я, старый одинокий дурак...»

...Тимоша смотрел на грязное окно, за которым кипели посадочные страсти, и думал, что, когда он проводит сегодня Колину семью в Болгарию, он сделает одну необходимую вещь. Он купит билет в Лазаревскую, куда уезжает сейчас Катя. Он поселится недалеко, но чтоб его не заметили, и постарается все понять про ее жизнь. Кто ее муж? Счастлива ли она? Слушают ли ее дети? Сколько денег они тратят на обед? Ему важно знать степень своей вины перед этой женщиной. Взорвало его изнутри, будто он какая-то банка с огурцами. Все перестало иметь значение - и что хотел, и что думал, и что сделал, - осталась одна вина. А значит, пришла пора отвечать за эту вину. Вот когда он все узнает, он выйдет на пирс, вздохнет глубоко и шагнет в воду. Он поплывет в Турцию. Никаких самоубийств, тоже мне глупости! Просто поплывет в Турцию. И будет плыть, плыть, плыть... И пусть все произойдет как произойдет. Может, его вернут спасатели, может, пограничники, может, судорога сведет ногу... Может, встретит его акула...

«Ах! - скажет она. - Какая приятная встреча! Сейчас я откушу тебе голову».

«Но ведь мне будет больно!» - ответит он ей.

«Какие глупости эта ваша человеческая боль!» - засмеется акула.

Пусть все будет как будет. И все решит судьба.

Такой он фаталист.

И тут Милка повисла у него на руке. Милка...

— Где они? - спросила она. - Где?

А поезд тронулся.

В последнюю минуту потный бородатый дядька, который боролся за вторую

полку, победив, рванул вниз окошко, но они ничего не увидели.

В вагоне пахло яблоками, колбасой, пылью, потом, пахло полиэтиленовыми пакетами, раздавленными окурками, пахло туалетом, вокзалом, железной дорогой. Пахло жизнью. И в конце концов люди успокоились. Они ехали. Вещи у них не украли, из поезда не высадили, а то, что их больше в вагоне, чем нужно, так почему это плохо? Люди, человеки - это же хорошо, когда их много. Что ж им теперь, помирать для необходимого количества? Так острил здоровый бородатый дядька, не желавший ни покинуть захваченную полку, ни искать другое место для освобождения пространства, тем более если вокруг такая замечательная компания.

Замечательная компания - Катя, Павлик и Машка - была втиснута в угол лавки, и Машку давно уже всю перекорежило от этого вагона и от этого дядьки. А Павлика все еще здесь не было, он остался там, в той комнате, из которой его увезли. И в ушах его все еще звучал звук задвигаемой шторы. И он думал об этом человеке, который вез их на вокзал. Павлик заметил: он дважды пренебрег светофором. Пренебрег или просто не видел? Ведь он все время смотрел на него, на Павлика. Пришлось даже спросить его:

– Почему вы на меня так смотрите?

– Интересно, - ответил человек.

Он внес им вещи в вагон и даже кое-кого разогнал. А на прощание сказал маме:

– Прости меня, Катерина!

За что он просил у нее прощения? Мама сделала такие глаза при этом, что не оставалось никаких сомнений: она не хочет, чтоб дети его «прости» слышали. Кто он такой, этот человек?

– Откуда ты знаешь этого дядьку? - поинтересовалась Машка.

– Какого дядьку? - будто не понимала Катя.

– Того, что на машине, - повторила Машка.

– Случайный человек, - неестественным голосом сказала Катя. - Просто договорились... Слушайте, дети, давайте пойдем в ресторан! Мы же ничего не купили в дорогу!

Никогда они не видели такой мать: фальшиво возбужденной, суетливой. Она даже зачем-то кокетничала с этим громадным соседом, который один захватил половину нижней полки. Она вступила, в какой-то глупый разговор с соседкой напротив и стала ей объяснять: «Трикотаж на подкладке - это совсем не то, что трикотаж без подкладки. Была у меня рижская кофточка...»

И дети окончательно поняли, что в Москве что-то случилось. Теперь она тащила их через весь поезд в ресторан и трещала не своим голосом несусветное:

– А зачем мне Загорск? Зачем? Что я, попов не видела? Да еще в жару!.. Так лучше один лишний день на море... А зоопарк? Это же ужасно - звери в клетках... Даже бесчеловечно, если подумать. А Москва? Ну что такое Москва? Я ее терпеть не могу... В прошлый раз...

– А ты разве была в Москве? - спросил Павлик. Зашаталась Катя в переходном рукаве, что между вагонами, или это поезд сделал такой крутой поворот?

– В детстве! - сказала она. - Чего ты ко мне придираешься сегодня весь день? Я про другое начала...

Так они шли и шли против движения поезда, получалось, что шли к Москве, хотя на самом деле убегали от нее в ресторан, где Катя собиралась купить бутылку

шампанского и дать детям, чтоб они развеселились и забыли все, все, все... Господи боже мой!.. Она к нему падала на грудь, эта девчонка! Собирается к ним в Северск! Эх вы! Дураки мои милые! Чтоб вам никогда, никогда больше в жизни не встретиться! Чтоб вы завтра забыли друг друга... Навсегда... А сколько стоит шампанское в поезде?

Состав казался бесконечным, как был бесконечным их пеший переход в уезжающем из Москвы поезде навстречу Москве. Они шли и не знали, что так же бессмысленно, как они, идет за поездом Милка.

Сначала она шла рядом с вагоном и смотрела в пыльные слепые окна, пыталась что-то увидеть, и усталые от летних перегрузок проводницы встречали ее взгляд без симпатии и сочувствия. Потом перрон стал снижаться, а Милка все шла и шла, не замечая, как кончился бетон и началась грязная, промасленная щебенка. Она дошла до этих женщин, на которых всегда смотрела с пренебрежением и превосходством, женщин в оранжевых куртках, пахнущих мазутом и делающих свое тяжелое рабочее дело.

– Куда ж это ты, дочка? - любопытствовала одна, и Милка поняла, что дальше идти некуда.

Она повернула назад и увидела Тимошу, который ждал ее на бетонной дорожке.

– А он рыжий и некрасивый, - сказал Тимоша. - А вырастет - отрастит пузо, как твой папа... Ищи себе, коза, другого.

– Что с тобой, Тимоша? Ты мой враг? - спросила Милка.

– Я люблю тебя, коза!

– Тогда молчи, - заплакала Милка. - Ты все равно ничего не поймешь... Ведь это он должен был бежать за мной...

– Не стоит слез, - вздохнул Тимоша. - Поедешь в Болгарию. Как в песне. «В Варне бродят смуглые парни...»

– Не ходи за мной... Слышишь, не ходи!

– Ты хоть попрощайся со мной! Так случилось, что я неожиданно уезжаю в Турцию...

– Скатертью дорога, - ответила Милка.

– Ну хоть посмотри на меня на прощанье! Но Милка уходила, не оборачиваясь.

– Вот и все, - сказал Тимоша.

...Акула раскрыла пасть и засмеялась: «Какие глупости эта ваша человеческая боль!»